

Заря, распутив сияющие крылья, взлетела над темной степью... Переблески зари заиграли в просторах ликующего неба, расступились сторожевые курганы, на степь выкатилось налитое золотым жаром тяжелое солнце, и зеленое раздолье дрогнуло в сверканье птичьих высвистов.

Степь

весна

ветер...

По большому Раздорскому шляху, что пролег меж Доном и Волгою, на горбоносых ногайских конях легким наметом бежала казачья ватажка голов в полста. Одеты казаки были небогато, как всегда одевались, отправляясь в дальние походы. На одном – смурый кафтанишко; на другом, для ловкости, безрукавый зипун; на ином – татарский полосатый халат, из дыр которого торчали клочья ваты; многие в холщовых, заправленных в штаны рубашках. За кушаками – пистолеты, широкие – в ладонь – ножи, кистени на перевязях из пожилыны да кривые – азиатских статей – шашки. За плечами кое у кого еще болтались луки, но у многих были уже и ружья, кои в ту давнюю пору являли собой диковину на всю знаемую Азию и на все Дикое поле.

День разыгрывался.

Играла степь хороша-прехороша. Ехали долом, ехали увалом, ехали как плыли: трава-то стояла густа да высока – у коней и голов не видать.

В небе, еле шевеля крылом, кружил орел. За дальним курганом, подобен тени, промелькнул отбившийся от стада олень. Куземка Злычой сорвался и, гикая, припустился было за ним, но скоро вернулся.

– Ну как, Куземка, не догнал? – окликнул его чернобородый казак, похожий обликом на турка.

– Коня пожалел, Ярмак Тимофеич, – отозвался Злычой и потрепал жеребца по запотелой шее. – Коня пожалел, а то не утек бы, бес рогатый, от моего аркана. [25/26]

– Гуторь... Не провор ты малый, погляжу я... Прямо промах парень...

– Я-то?

– Ты-то. Га-га-га-га-га!..

– Да я, твоя милость, позапрошлой весной на Сагизе-реке бородатого орла зрел и чуть-чуть не словил... Такой орлина богатырский, на трех дубах гнездышко пораскинул... Еду я туркменской степью, по сторонам остренько поглядываю... Тут сыру-ярью река протекла, там камышовое болото повылегло – место глухое, место страшное...

Был Ярмак не молод и не стар – самый в соку – мастью черен, будто в смоле вываренный, и здоров, здоров как жеребец. Ржал Ярмак, задрал голову, – конь под ним садился. Из хвоста ватаги на голос атамана нежным ржанием отзывалась кобыла Победка. В сдержанной усмешке сверкали зубы казаков.

– Весть подает...

– Ночь темна, лошадь черна, еду-еду да пощупаю – подо мной ли она? – рассказывал Куземка.

Казаки перемигивались и жались поближе к баляснику.

- Бородатый, говоришь?
- Ну-ка, ну, развези!..

Угадав в голосах насмешку, Куземка замолчал и на все упросы товарищей отмолчался. Батъжничать он любил по ночам у костра или при блеске звезд, а так был несловоохотлив.

Пылал и сверкал над омертвевшей степью полдень. Взъерошенный перепел сидел в травах, раскрыв горячий клюв.

Приморенные кони начали спотыкаться.

У степного озерца, в тени онемевших от зноя ясеней, ватага стала на привал.

Наспех похлебали жиденького толокна, пожевали овсяных лепешек и провонявшей лошадиным потом вяленой баранины, - нарезанное тонкими жеребьями мясо вялилось под седлами, - и, выставив охраняльщика, полетели спать.

Степь

травы

марево

стлалась над степью великая тишина, рассекаемая порою лишь клетотом орла.

Спутанные кони, спасаясь от овода, по уши заходили в озеро и, вздыхая, скаля зубы, тянули теплую мутноватую влагу.

Вольно раскинувшись по примятой траве, на разные лады храпели казаки.

Жара мало-помалу свалила. Сквозные светлые тени ясеней легли на дорогу, загустели синеющие дали, дохнуло прохладой.

Снова тронулись пустынной степью.

Путь-дорога, седые ковчиги...

Ехали - как плыли - в сумерках. Ехали и потемну, слушая тишину да крики ночных птиц. [26/27]

Во всех звездах горела ночь.

Ехали молча.

И снова поредела ночная мгла, степь залило росой, как дымом.

В лоб потянуло свежим ветром.

Ярмак привстал на стременах и, раздувая на ветер тонкие ноздри горбатого носа, сказал:

- Ну, якар мар, Волга!

И не из одной груди вылилось подобное вздоху могучее слово:

- Волга...

Дремавшие в седлах гулбщики приободрились, пустили коней рысью и загайкали песню.

Степь

простор

безлюдье...

На курганах посвистывали суслики. В небе маленькие, словно жуки, плавали орлы. Ветер колькал траву, гнал ковыльную волну.

Впереди показались, выгибая щетинистые хребты, нагорья, ныне они голы, а в былое время стояли в крепких лесах.

- Волга...

По нагорному приглубокому берегу ватажка направилась к устью речки Камьшинки.

На луговой стороне в сочной зелени трав сверкали, тронутые легкой рябью, густой синевы озера; зеленым звоном звенел подсыхающий ковыль, и далеко-о-о внизу, как большая веселая жизнь, бежала Волга...

Заросшая папоротником тропа вывела Ярмака на поляну, нагретую солнцем, - малиновым духом так и обдало казака. Увидав в чащобе ивовые шалаши и землянку, он закричал:

– Гей, гей, есть ли тут крещена душа?

Из землянки вылез до глаз заросший седьм волосом старик. Он был бос, и наготу его еле прикрывало ветхое рубище. Из-под трепещущей руки долго вглядывался в пришельца.

– Али не узнаешь, Мартьян Данилыч, своего выкормыша? – не в силах сдержать радости, кинулся к нему Ярмак и загремел: – Га-га-га-га-га, здоров будь, атаманушка!

– Чую, с Дону казак...

– Эге.

– Ба-ба-ба... Да никак ты, Ермолаюшко?

– Я и есть.

Они обнялись и поздоровались по ногайскому обычаю, троекратно – как кони – кладя друг другу голову с плеча на плечо.

– Жив-здрав?... Принимай гостя. [27/28]

– Рад гостю.

– Поклонов тебе приволок и с Дону и с Волги от ножевой орды, от рыбацких куреней...

Ярмак сбросил баранью шапку, заскоружлой от лошадиного пота полой чекменя отер разгоряченное лицо и уселся в тень ракитова куста, подвернув под себя ноги.

– Помню я тебя, Ермолаюшко, вот каким, а ноне гляди-ка какой вымахал!.. Поди-ка и сам в атаманах ходишь?

– Эге, – довольно усмехнулся казак.

– Так, так... Узнаю сокола по спуску... Велика ль артель?

– Чубов под сотню.

– Где станом стоите?

– На Булане-острове.

– Доброе место, рыбы невпробор и от лихого глаза укрыто. Когда-то мы с твоим батюшкой, Тимофеем, два летичка на Булане пролетовали и ох не молвили...

Ветками зелени старик застлал земляной стол и поставил перед гостем деревянную чашку с медом да чашку с ключевой водой.

– Не обессудь, сынок, без хлеба живем... Леса у нас дики, места просты, голосу человеческого не слышно, следу зверьего не видно, змеиных ходов – и тех нету.

Ветхие сети были раскинуты по кустам орешника. Ветрилась нанизанная на лычки пластанная рыба, светлые капли, вспыхивая на солнце, скатывались с рыбьих хвостов. В жирных лесных травах дух стоял ядреный да сычоный. Из облепленного пахучими травами дупла по лубяному носку стекал мед в долбленную бадейку. Под липами гудели пьяные пчелы.

– А народы где?– спросил Ярмак, оглядывая рыбацкий стан.

– Уплыли к монахам рыбу на хлеб менять, в полуутра возвернутся... Што, Ермолаюшко, с орды вестей?

– Ордынцы ныне приутихли, не слышать.

– Так, так...

– Лонись ходили мы, волские и донские атаманы, ногайцев проведывать и в устьях Яика сожгли столицу басурманскую, Сарайчик... За таковое удалство царь хвалющую грамоту на Дон прислал, а на Волге атамана Бристоусца да атамана Иваньку Юрьева рассказал, а они ни сном ни духом про тот наш поход не ведали.

– Лют царь-государь, хитер и лют.

– Так-то ли лют, и не сказать! Нас на орду натравливает, ордынцев к себе на дружбу зазывает и торговлишку с ханами ведет.

– Старая песня!.. – Мартьян крепко потер на лбу рубец сабельной раны, и в его еще не утративших зоркости глазах как тени промелькнули какие-то воспоминания. – Ну, а што с Руси вестей?

– Штатается народишко, ровно чумовой. К нам на Дон бредут и от нас

бредут. [28/29]

- Так, так...

- Шлет Москва до низовых и верховых атаманов ласковые грамоты, зовет оберегать Поле от ордынцев и за ту службишку пороху, сукна и хлеба сулит. А воеводы с большого ума да по государеву указу отгоняют нас от русских городишек, ровно бешеных волков, а где поймают - там и языки урезают, ноздри рвут, батогами бьют, на дыбу дыбят и в удаленные монастыри да заводы в ссылку шлют для крепкого береженья.

- Чего же хочет царь Иван?

- Клонит нас гроза-царь на покорность.

- Вот оно што!

- Вредительны-де ему разбои наши.

- Угу...

- Мы-де его с басурманами ссорим и торговлишку рушим. - Ярмак крутнул головой и залился каленым смехом, ровно гору камней раскатил. Нрава он был веселого и бешеного, сила распирала его, тугие кудри на его голове вились из кольца в кольцо. - Николка Митрясов, Раздорской станицы казачок, прислал из Суздаля писаную грамотку... Сидят, слышь, наши казаки в тюрьме земляной, и по цареву велению корму им совсем не дают, волочатся в наготу, босоте и голодной смертью помирают.

- Не ведаю, какой ноне народ пошел, - сказал Мартьян, - а мы, казаки старого корня, бывало, самому богу не кланялись, хошь и верили в бога крепко.

Ярмак потянулся - хруст по костям пошел.

- Ордынцы присмирели, скушно на Дону...

- Вольному воля, бешеному поле.

- Скушно на Дону, а на Волге тесно. По горам сторожи по-расставлены. У Караульного яра, на Пролей-Кашах и выше воеводы, слышно, остроги городят. Сила поразгуляться просится... Уговор держим кверху плыть - за сурскими осетрами, за камскими бобрами.

- Добро удумали...

- Худа не умыслим... Айда-ка, Мартьян Данилыч, с нами! Ты казак видалый. Будешь у нас над атаманами атаман и попом тож... И рыбакам твоим дело найдется. Будем плыть, песни петь и рыбку ловить.

- Хе-хе, братику, упустя время да ногой в стремя?... Брюхо есть хотело - ел, брюхо пить хотело - пил, сердце кровей жаждало - крови лил, а ноне алчет душа моя покою и молитвы.

- Наказано мне приволочь тебя, - с веселостью в голосе сказал Ярмак. - Не пойдешь охотой - силом уведу.

Старик замахал руками.

- Куда мне, дуплястому пню?... Плывите, молодые, добывайте зипуны мечом да отвагою, а я помолюсь за веру Христову, за полоняников, томящихся в неволе басурманской, за повольнив, слепнувших в тюрьмах земляных и на дыбе стоном исходящих... [29/30]

- Помехи молитве твоей и в походе чинить не будем, молись во всю голову - бог кругом видит, кругом слышит.

- Любезный Ермолаюшко, зверь под старость - и тот, почуяв смерти приближение, сноровит от шайки отбиться и умереть в одиночестве, а ты меня сызнова на мир волочешь?

- Ну, ты поди-ка еще чарки не прольешь и любого коня объездишь...

С понизовья грозил ветер. Стремилла Волга к далекому морю бег мутной волны. Пустынны и глухи лежали берега, над песчаньими косами курились пески, текли синеющие дали... Крутой ветер буянил на просторе, кипящие волны были похожи на пирующих победителей какой-то несметной орды.

Над Буланом—островом гам и гал и дым многих костров.

Хмельная волна хлестала в берег. Столкнутые с отмели, мотались на волне будары и насады, лодки плавные и лодки кладные.

Артельный уставщик Фока Волкорез похаживал по берегу да прикрикивал:

– Соколики, ходи веселее!..

Босые и оборванные бегали по хлюпающим дощаным настилам, грузили кули толокна да гороху, связки вяленого сазана яицкого да свежеловки малосольного сазана астраханского, рыболовную и звероловную снасть, выделанные из цельных свиных шкур чувалы с порохом и свинцом да всякий воинский припас.

На высокой корме двенадцативесельной атамановой каторги взлаивал от нетерпенья Орелко, седой кобель с волчьим зубом. В походах он вырос, в походах успел и состариться. За свою недолгую собачью жизнь побывал в Персии и Турции, лакал воду из Терека, ганивал кабанов в придунайских гирлах, и по всем заволжским аулам не было, кажется, ни одного пса, с которым Орелко не грызся бы.

Дела доделаны, песни допеты, казаки шумной ватагой сошлись к атаманову шатру.

Мартьян, обратившись к востоку, читал напутную молитву.

Ватажники молились в глубоком молчании, задубевшие лица их были суровы.

– Избави нас Иисус Христос и царица небесная от огня, меча, потопу, гладу, труса и хвороби!..

После всего, по обычаю, распили стрелянную чарку и с шутками да смехом пошли к лодкам. [30/31]

– Чалки выбирай!

На дощаники были выбраны чугунные плюхи и дубовые с ввязанными камнями якоря.

– Ну, якар мар!.. – повел Ярмак карим дремучим глазом и положил крепкую руку на руль. – С походом, братья!.. Брык копыто, тюк квашня, бери-и-сь!

Мартьян снял шапку и перекрестился.

– Господи благослови.

И все торопливо закрестились.

Весельники поплевали в руки, взялись за весла, ударили, еще ударили и, расправляя кости, принялись неспешно покидывать тяжело стонавшие весла.

Ярмак прошел на нос и, высоко подняв над головой, метнул в воду колодку меду, потом разломил через коленку ковригу ржаного хлеба и тоже бросил волнам в лапы.

Старики, чтобы погладить путь—дорожку, бормоча молитвы, кидали за борт по горсти соли.

Дурашливый Яшка Брень швырнул в воду шапчонку и завопил:

– Волга-а-а, разливные рукава-а-а!..

Бородатый Иван Бубенец, с лицом, забрызганным порохом, точно маком, диким голосом завел песню

подхватили.

Навалился ветер, и заходила, задышала Волга.

Весла были приняты, латаные и рогожные паруса поставлены.

Ярмак покрикивал:

– Держись по струе!..

Ходко шла атаманова каторга, а за каторгой ухлыстывали будары и насады, лодки плавные и лодки кладные.

Плыли.

Бежала Волга в синем блеске, играючи песчаные косы намывала, острова

и мысы обтекала, вела за собой крутые берега да зелены луга...

Размах гор

навалы больших лесов.

Дремали над Волгой, карауля тревожный покой Азии, русские городки и острожки.

За бревенчатыми стенами жил и кормился от слез и крови рода христианского воевода с челядью. [31/32]

Жили стрельцы с семьями в своих дворах. Занимались они ремеслами, вели торговлишку, справляли государеву и всякую расхожую службишку.

Жили для души спасения – на слуху острожков – монахи в скитах и монастырях.

Жили татары в слободках, покидая с весны по осень дворища и откочевывая в степь.

Жили, перебиваясь с хлеба на воду, черные мужики и всякий нашлый, гулевой народ.

Жили купцы хлебные, рыбные и всякие иные.

По весне скликались купцы кораблями и, под охраной принанятых людей, большими караванами сплывали к Астрахани и в море – в Турхменскую и Кизылбашскую орду.

Зимами от дыма к дыму и от города к городу и ото всех городов к Москве пробирались обозы с товарами купецкими. Везли воск и сало, пеньку и соленую рыбу, сафьян и кожи воловьи, лен, соль и всякую всячину.

Жили.

Воевода над всеми суд и правёж чинил, попы за всех молились, а мужики на всех работали.

Так и жили, не мудрствуя, да еще по зимам люди посадские тешились кулачными и палочными боями, сокрушая друг другу скулы и ребра, – то играла в народе молодая кровь.

С купцов оброк брался смотря по торгам и промыслам. С кабаков и харчевен бралась денежка уловная. И с судов, приставших к берегу с товаром, взыскивалась копеечка побережная. На перевозах, перелазах и заставах тамга собиралась за весчее, померное, явку и за пятно. Да с рыбацких слободок шла в казну гривна волжская.

Катилась деньга из кулака в кулак, из сумы в суму и изо всех сум – в Москву, в государеву мошну.

А в Москве на корню сидел царь Иван.

Вокруг Москвы, на лучших землях сидели царевы согласники – князья и бояре с дружинами.

Любил царь, забравшись на башню кремлевскую, побыть в одиночестве: далеко отсюда было видно.

Там, старыми степными шляхами, в тучах вихрящейся пыли с гиком и визгом летела крымская орда для губительного удара.

Там, от лихости воеводы народ разбежался, и его, государев, город остался пуст.

Там, с далеких наволжских становищ, бесовская сила подняла и замешала покоренные племена кочевников, и они, преступя многие клятвы, уже седлали коней и клинками высекали искры мятежа. [32/33]

Там, соседствующие страны, поддавшись дьявольскому наваждению, замышляли против Москвы недоброе.

Там, знатные потомки удельных князей, таясь воровски по углам, раскидывали тенета заговора; да они ж, сбжав в чужие земли, ярились оттоль, лаяли и всяко поносили своего государя.

Там, буйствующие казачишки, колеблясь в вере и свожавшись с разноязычным сбродом, шли на города русские с разбойным приступом...

Печалился царь Иван о неустроении царства своего и все придумывал, как бы сотворить земле русской приращение, прибыточную торговлю со всякими странами завести и веру православную распространить, дабы возвеличилась Русь

над всеми народами и языками.

На холмах лепились сторожевые городки, посады и слободки, бревенчатыми стенами да рвами обнесены.

Плутала Русь в лесах и болотах. Качали ее ветра, секли дожди, заматали злые сиверы.

Облачившись в смиренные одежды, в слезах молился царь. Деньги и дарующие грамоты по городам рассылал; сам ездил по монастырям, богадельням и тюрьмам, кормя из рук убогих, прокаженных и злодеев; да по цареву ж указу царевы холоуи развозили на телегах по улицам московским милостыню.

Лились звоны печальные

галчиньй крик...

Но скоро, по слову летописца, возненавидя грады земли своя, скакал царь с опричниками по дорогам русским и в иступлении ума крушил города, жег деревни, побивал и топил множество народа и неугодных вельмож. Так в лето 1570 года были подняты на меч Клин, Тверь, Псков и Новгород.

В страхе и трепете, подплыв кровью, лежала земля русская.

В кремлевских же палатах жарко горели свечи, гремели песни подблюдные, плясали девы наги. Веселился царь, веселились и его согласники, а на помостах стучали топоры, рубя – и черным людишкам, и попам, и боярам – головы.

Из Москвы на всю страну шла гроза и милость царская.

Войны, то затихая, то разгораясь, велись непрерывно из года в год.

Под звоны колокольные полк за полком и рать за ратью гнала Москва...

С разудалой песнью и пьяною слезою выступали пеши, выступали конны...

– Прощай, прощай, Москва!

Далеко вослед уходящим неся плач и стон, и долго со стен кремлевских знатные москвичи махали шапками.

– Час добрый, братцы, спаси Христос!

Заранее чая иноземной торговли посрамление и прикидывая в уме грядущие барыши, расходились купцы по лавкам.

Ратники же, миновав заставы и слободки, все еще оборачивались [33/34] и, бормоча во хмелю слова молитвы вперемежку с руганью, крестились на церкви.

Дружины, позатираясь на дорогах от множества, валом валили на крымцев, из лесов муромских выходили на казанцев, за Смоленском встречались с ляхами и литовцами.

С иконами на древках и с хоругвями, развеваемыми ветром, под свист и брань бросались дружины на приступ, и, опрокинутые встречным потоком картечи и копьем рыцаря, разбегались дружины по степям, лесам, болотам, где и мерзли и мерзли от наготы, духоты и бескормья.

Не раз русские были биты, и сами бивали.

Многие языки, как потоки, вливались в русскую реку, увеличивая мощь и многоводность этой реки.

Шумели над Русью беды.

Набеги кочевых орд и пожары опустошали страну. Моровые поветрия, голод и жесточь правителей истребляли народ, но народ был молод и неистребим, как трава.

Большого давил набольший, большие ехали на середних, средние обдирали меньших. Меньшие же, черные людишки, жили по пословице: "Не страшно нищему, что деревня горит – взял сумку да пошел". И когда становилось невмоготу, сбивались лапотные людишки в шайки и брели куда глаза глядят, кормясь бурлачеством, разбоем и войнами.

Дика стояла земля

жил на ней дикий народ

управляемый дикими властителями.

Царь за всех думал, князья и люди ратные воевали, а мужики пашню пахали, траву косили и всякие дела делали, – исстари крепка стоит Русь

горбами мужичьими.

6

Валила по Волге волна волговая, мыла вода желты пески, кусты со кустами споласкивала. Ветры трепали березу, рябину. Раздували ветры дубравы зеленые. Берега пусты, леса густы.

На перекатах, на быстрой воде, в ляточных хомутах хрипели, бились бурлаки.

Вы, робята, не робейте!
Свою силу не жалеите!..
Э-э, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая сама пойдет!

Идет
идет...
Идет
идет...
Идет
идет... [34/35]

Сама пойдет
Идет
идет...
Идет
идет...
Идет
идет...

С баржи – прикащик!

– Оравушка, бери дружно!

Запевала заводил:

На лугу стоит Васёнка,
Ищет, ищет с поросенка...

Подхватывали:

Дубинушка, ухнем!
Зеленая сама пойдет!

Идет
пойдет...
Идет
пойдет...
Идет
пойдет...

Сама пойдет.
Пошла
пошла...
Пошла
пошла...
Пошла
пошла...

С баржи – купец:

– Робятушки, старайся!

Вел ватагу гусак:

– Не засарива-а-ай!..

В хвосте ватаги – косной:

– В ногу!

Эх ты, тетенька Настасья,
Раскачай-ка мне на счастье...
У-у, дубинушка, ухнем!

У-у-у, зеленая, сама пойдет!

Идет

идет...

Идет

идет...

Идет

пойдет...

Сама пойдет,

Идешь

пойдешь...

Не хошь -

пойдешь...

Пошла

пошла... [35/36]

Ухали с утра дотемна.

В понизовье бурлаки рядились:

- Куски не в счет... Ты, хозяин, во всяк день два горячих варева нам выстави.

- Не постую.

- Опять же, думай не думай, а на холоду да в сырости без вина нам не вытерпеть.

- Не постую, братцы. Поживете за мной, как за каменной горой. Только уговор: чин блюсти и не буянить.

- Выстави нам во всяк день чарку отвальную, чарку причальную, да по большим праздникам и в холодные ночи по третьей чарке - для здоровья.

- В таком деле я не спорщик: ведерко на день выставлю - хошь пей, хошь лей, хошь окачивайся.

- Положь на путину по штанам да по рубахе, да на неделю по двое лаптей, да по семи рублей на голову за всю нашу работу.

- Не жирно ль?

- Какое, батюшка!

- По семи рублей?... Таких деньжат у меня и в заводе не бывало. Коли с трешницы скинете по рублику - с богом.

- Побойся бога, Фрол Кузьмич, подумай-ка: где Астрахань, где Ярослав!

- Путина великая.

- Как не великая! Переть да переть... Посудина твоя гружена тяжело. Утрем поту, хлебнем слезы...

- Дойдем полегоньку.

- Легко сказать!

- Дойдем, где способными ветрами, где как.

- Вестимо, пойдём так дойдём... Мы тебе, Фрол Кузьмич, уважим, да и ты нас, твоя милость, копейкой не прижимай.

- Стоните, сударики, не стоните, а из меня и гроша ломаного не выстоните.

- Ну, по шести рублей с полтиною...

- По три рублика на рыло, да накину вам на пропой по медному пятаку.

- По шести рублей.

- Трешница.

- Пять с полтиной.

- Трояк.

- Пять рублей.

- Трынка.

- И по четыре не дашь?

- Не дам.

Бурлаки переглядывались, шептались, и гусак, хлеснув шапчонкой о землю, невесело выговаривал:

- Эх, где наше не пропадало! Плыть - так плыть!.. Давай, хозяин, гладь

дорогу.

Купец выставял угощенье, ватага пропивала свою волю. [36/37]

Гуляли день, гуляли ночь, дурными голосами орали пропащие песни.

На заре гусак поднимал зыком:

- Хомутайся!..

Артельный козел привозил с баржи бочонок вина полугарного, и бурлаки, похмелившись, впрягались в хомуты.

- Берись!

- Взяли.

- Ходу!

- Разом, эх, да!..

Тяжел первый шаг, а там - влегли и пошли, раскачиваясь, пошли, оставляя на мокром песке клетчатый след лаптя. Набегала шаловливая волна, зализывала бурлацкий след.

Секли бурлаков дожди, сушил ветер.

На тихих плесах шли ходко, верст по сорок в пряжку, а на перекатах и у бычков - где вода кипмя кипела - маялись, сволакивая порою посудину с камней или с отмели.

С-за угла копейку срубим,
На нее краюху купим...

Э-эй, дубинушка, ухнем!

Э-да зеленая сама пойдет!

Дернем

подернем...

Дернем

подернем...

да еще разок

поддернем...

Идет-ползет!

Ух

ух...

Ух

ух...

Уу

ухнем!..

Бывало и так. Ночью с берега кричали:

- На барже-е-е-е-е-е-е!..

Караульный не вдруг отзывался:

- Што орете?

- Нам самого.

- Спит.

- Ну, Сафрон Маркельча.

- Спит.

- Буди.

- Пошто?

- Буди давай!

Слышно было, как караульный, шаркая босами, проходил на корму в жилое мурье. На борту появлялся старый прикащик, гладко зевал в непроглядную темень и окликал: [37/38]

- Кто там? Чего там?..

- Сафрон Маркельч, яви божеску милость, выстави по чарочке...

Зззадрогли!

- Не припас, не обессудьте.

- Ну, хошь полупивца по ковшику, погреться.

- Не наварил, не прогневайтесь.

Бурлаки снимали шапки.

– Удобрись.

– Эззадрогли!..

– Выкати хошь бочонок квасу пьяного.

– И квасу не наквасил, не взыщите.

– Што ж, пропадать?

– А вы, глоты, зачерпните водочки из-под легкой лодочки да вскипятите, вот вам и грево.

– Эх, рядил волк козу

Сафрон Маркельч, выслушав их богохульную брань, сплевывал, мочился прямо за борт и, дернув, уходил к себе в мурье.

– Вишь, распирает черта. С хозяином поди гороху наперлись, а нас на рыбке держит. – Бурлаки кутались в лохмотья и рогожи, гнулись на холодном песке, кляли белый свет...

Чуть зорька – гусак поднимал:

– Хомутайся!

Укачала уваяляла,
Нашей силушки не стало.

Дубинушка, ухнем!
Зеленая сама пойдет...

Идет
пойдет...

Идет

пойдет...

Идет

пойдет...

Сама пойдет...

Дернем
поддернем...

Дунем

грянем...

Да еще разок

У-у-ухнем!..

Солона ты, слеза бурлацкая!

Приходили до места, – мясо на плечах ободрано до костей, деньги забраны и прожиты, лапти стоптаны, рубахи вшами съедены.

Вязали плот и опять сплывали на низ.

По Волге, Каме и Оке

по Дону, Днепру и Волхову

шли бурлаки, погрязая в болотах,

утопая в песках, дрожа от холода и задыхаясь от жары. По всем рекам русским, подобна надсадному храпу, кружила песня да трещали хребты бурлацкие...

[38/39]

Летела Волга празнишная да гладкая...

На стрежне играли солнечные скорые писанцы. Ветришка по тихой воде стлал кошмы, гнал светлых ершей. На перекатах взметывался жерех, гоня мальтявку. Там и сям, как рыжие бычьи шкуры, были раскиданы песчаные отмели.

Над Волгой город

в городе торг.

Лавки меховые с растянутыми на рогатках звериными шкурами, прилавки с сукнами и беленьми холстами, да межлавочья заезжих купцов и ремесленников.

Широкие скамьи были завалены калачами, кренделями и подовыми масляными пирогами.

От рыбных шалашей несло злой воню, крутили носами и отплеивались проходившие именитые горожане.

Телеленькали на церквах колокола и колокольцы, крепкий хмель бродил в

толпе.

Ряд шорный, ряд бондарный, ряд горшечный, ряд блинный. Люду празнишного – не продохнуть.

Бочки квасные, корчаги с говяжьими щами да киселями. Высоко взлетали качели с хохочущими девками и парнями.

Баба-ворожея гадала на бобах, две девоньки-подруженьки глядели ей в рот и от страха дух не могли перевести.

Ребятишки на разные лады дули в глиняные свистульки, кровопуск ржавой бритвой отворял кровь стрельцу.

Божба торговых людей, крики окрипших за день зазывал. Старуха-лепетуха продавала наговорную траву.

Табунами валили нарядные девки, грызли сладкие рожки, щелкали орехи. Поводыри водили слепцов.

В стороне от торгу, на поляне дымились ямы дегтярей и смолокуров. В черных кузницах сопели горны, тюкали молотки.

Ползли калеки и нищие, голося песни скорые и песни растяжные. Пьяница храпел под лопухом у забора.

До ушей перемазанной купоросными чернилами подъячий, в долгополом, оборванном собаками кафтане и в шапке клином, набивался за медный трешник хоть на кого настроить жалобу, кляззу или донос.

Одну зазевавшуюся девку окружили бурлаки. Вихрастый буян ухватил ее за наливные груди и крикнул:

– Ребята, ведьму пымал!

– Отзынь, ирод!

– Ведьма.

– Што ты, злыдень, напустился? Поди прочь! – отбивалась девка. – Я скорняка Балухина дочка.

– Рассказывай, сарафаночка! Али забыла, – видались мы с тобой в крещенскую ночь на Вакуловой горе?

– Пусти, змей! [39/40]

– Ведьма! Заготовали бурлаки:

– А ну, погляди, нет ли у ней хвоста? Буян облапил красавицу, завернул ей юбки на голову и, шлепнув по румяному заду, крикнул:

– Крещена!

Плачущую девку отпустили, а сами со ржаньем и шутками гурьбой повалили в кабак.

Окруженные стражей стрелецкой, брели колодники – выпрашивали подаянье, под звон и грём кандалный со скорым причетом и завывом распевали псалмы и жалобы:

Гнием мы и чахнем
В стенах тюрьмы.
Нас гложут и душат
Исчадия тьмы,
Не виден закат нам,
Не виден восход.
Православные братья,
Пожалейте сирот...

Кто бросит тюрьмарям пирог обкусанный, кто – яблоч-заедок, кто – чего.

Приехавшие из дальних заволжских скитов молчаливые монахи толкались в народе, выменивали товары на иконы и книги рукописные.

В тени каменной церковной ограды на дорожных сумах отдыхали седые от пыли бездомки. Над костром в котелке булькал и пенился грязным наваром шулом – жиденьякая каша-размазня. Полунагой нескладный парень выжаривал над огнем вшей из рубахи.

– Гинь, беспляс, натрясешь тут мне, – отгонял его суетившийся у котла

старичишка.

- Наваристее будет, с говядиной! - ухмыльнулся парень.

Старик хлеснул его горячей мутовкой по голой спине. Парень с воем отскочил, ногтями соскоблил прикипевшую к спине кашу и съел ее.

- Уу, облизень! - погрозил старик.

Рядом переобувался мученый мужичонка с козлиной мордой и глазами, полными печали.

- Отколь бредете, старинушка?- спросил он.

- Из Калуги, родимый.

- То-то, слышу, разговор у вас тихий да кроткий, расейский... Тутешний народ, господь с ним, буен, и голоса у всех рыкающие.

- С благовещеньева дня идем, отощали.

- Далече?

- Куда глаза ведут.

- Жива ль земля калужская?

- Не спрашивай, милостивец. [40/41]

- Туго?

- И-и-и, не приведи бог!

- Голодно?

- Чего не голодно! Оков ржи пятнадцать алтын, овса оков десять алтын...

Которые с семьями, помолясь, в Литву побрели.

- Худо.

- А вы чьих земель будете?

- Мы, отец, костромские.

- Куда путь правите?

- На низ, бурлаковать.

- Как у вас?

- Глад и мор, мается народ.

- Ишь ты...

Мужик пылью присыпал созревшие язвы.

- Ногами вот разбился, затосковались мои ноженьки.

Подостлав дырявый армяк, мужик блаженно разлегся, повел неспешный рассказ:

- Прошлым летом налетел в наши края белый червь, дотоле не виданный: сам гол, головка мохнатенька, похож на мотыля. И такая-то ли его насунула тьма - ни реки, ни огонь не сдержали. Объял червь нивы, траву в лугах, мох на болотах, листву древесную и иглы ёлные... Старого и малого страх ума объял. Подняли мы иконы, раскрыли могилы праведников, кинулись строить церкви... За тяжкие прегрешения отвратил господь от нас лик свой. Земля почернела, деревья посохли, всякая ползающая и бегающая тварь стибла, разлетелась птица... Осень еще перебивались кое-как. У кого был запасец - подъядали липовый да рябиновый лист, древесную кору и молотую рыбью кость. Зима пришла и смерть с собой привела. Поедали кошек, собак и глину. Человеки, поснимав кресты с шеи, поедали человеков. От голоду и морозу на улицах и по дорогам многие помирали, и некому было хоронить мертвых.

- Страсти! - перекрестился старик и, выхватив из огня котелок, позвал глазевшего на торг парня: - Епишка, шулом простынет.

- Простынет к завтрашнему в брюхе, - отозвался Епишка, подходя и отвязывая от пояса большую обкусанную ложку.

- Пододвигайся, похлебай с нами горяченького, - пригласил старик костромского.

- Спасет Христос!

Мужик подсел, вывязал из своего мешка окаменевшую ржаную горбушку, круто посолил ее и вздохнул:

- Идем-бредем, и конца-краю нет земле русской, а жить серому негде и не при чем. Хлеба много, а жевать нечего! Дивны дела твои, господи!

И все трое припали над котелком.

Торг шумел

торг гремел. [41/42]

Со свистом и воплями шлялась по торгу буйная ватажка скоморохов, глумцов, чудесников и смехотворцев. Бороды мочальные, маски лубяные раскрашенные, плетенные из соломы островерхие колпаки и высокие, наподобие боярских, шапки. Гуслиеры на гусельках бренчали, гудошники в гудки гудели, а гудошники на липовых да камышовых дудках выговоры выговаривали. Иные в сурьмы выли, иные в накры и бубен били, иные кувьрканьем народ потешали. А впереди—то в поддевке—разлетайке, легок на ногу, притопывал и на губах подыгрывал уклюжий плясунок Славка Ярец.

Народ за позорами валом валил.

- Рожа—то, рожа!
- Во, рожа! Всем рожам рожа.
- Хо—хо—хо, хо—хо—хо!..
- Гляди, Сысой, вот того ровно черти трясут.
- Свят, свят!
- Провальные.
- Ухваты ребята.
- Га—га—га!
- Дивовище, брат...

Заскорузлые руки разматывали портянки, доставали из—под штанин черные медяки и кидали в бубен, с которым шел по кругу, кланяясь, ученый медведь.

Ватажка остановилась перед рыбной лавкой и в лад заголосила:

Уж как купчине Ядреюшке
Слава!
Чадам и потомцам евонным
Слава!

Рыбный купец Ядрей вынес игрецам тухлого судака.

- На игрища вы люты, на дело вас нет.
- Эка выворотил! — Ярец швырнул рыбину через голову купца в лавку. — Сам жри, урывай—алтынник!

Позоры принялись петь срамные песни и всяко охальничать, — девки и бабы от лавчонки и из всего рыбного ряда разбежались. Кривой и косоротый мальчишка—глумец ухитрился поджечь Ядрею бороду, после чего ватажка, взывав, двинулась дальше.

Разъезжал по торгу верхом на раскормленной лошади сын боярский, Пантелей Чупятый, и потешался тем, что разбрасывал на все стороны польской чеканки серебряную и медную монету, которой, по слухам, он привез с войны два воза.

Народ кидался за деньгами в драку—собаку, рыча, давя и калеча друг друга.

Чупятый захлебывался смехом, щеки его были мокры от слез.

На помосте палач сек мужика.

Кругом тесно стояла притихшая толпа. Иные вздыхали и со страху крестились, иные, чтоб умиловить палача, бросали на помост деньги. [42/43]

Кнут, расчесав мясо, с пристуком хлестал по костлявой спине, запавшие бока ходили, как у загнанной лошади. Стоны мужика помалу затихли.

- За что он его?
- За рыбу... Помалкивай, тетка!
- Забьет.
- Кровопивцы!

На голос заплакала баба

толпа загудела и придвинулась.

- Стой! — рявкнул угрожающий голос подвыпившего гусака бурлацкого

Мамыки. Своим богатырским ростом он возвышался над всеми, кудри лежали на его непокрытой голове в три ряда, бобровая борода была полна репьев и соломы. – Стой, душегубец!

Народ качнулся, зашумел:

- Насмерть забьет.
- Всю шкуру слупил.
- Ахти нам, православные!
- Всех переведут...

Голова стрелецкий зыкнул на бурлака:

- Эй, борода, не баламуть народ!
- Я такой...
- Вижу, какой... Али сам захотел на кобылу лечь?

Мамыка промычал что-то невнятно и, оттолкнув стрелецкого голову, полез на помост.

Палач шагнул ему навстречу, кнутом играя.

- Куда прешь, неумытое рыло?
- Не костери, ты меня не кормил.
- Сойди прочь!
- Силой не хвалюсь, а тебя не боюсь.
- Цыц! – палач замахнулся.
- Ударь, попытай.
- Держись! Кнут хлеснул

еще хлеснул

и еще...

Мамыка стоял недвижно. Посеченная в ленты посконная рубаха сползла с его крутых плеч, хмельная улыбка блуждала на растерянном лице. Но вот он сердито засопел, маленькие соминые глазки его блеснули, и, вдруг повернувшись к палачу, глухо выговорил:

– Будя!

– Не пьешь! – распалившийся палач в ярости хлестал бурлака и по рылу, и по глазам, и по чему попало...

Мамыка шагнул, поймал своего мучителя за руку и, выломив ему руку в локте, крикнул:

– Бей приказных!

Покатались голоса: [43/44]

- Бей!
- Бей, чтоб не жили!
- На саблю да на пистолю – дубинки Христовы!

Мамыка, ухватив палача за ноги, бил его с размаху головой о столб.

- Дай ему!
- Ломи, ребята!

Под напором многих плеч помост затрещал и повалился.

Толпа взвывала и понесла.

Смяла толпа стрельцов и устремилась громить торжище.

Из лавок полетели, распластываясь, легкие меха, сувои сукон, связки сушеной рыбы и грибов.

Народы, будто по уговору, бросились к кабакам, выкатывали бочонки с зеленым вином и тут же, высадив днища, пригоршнями и шапками расчерпывали вино.

Колодники сбивали камнями с ног деревянные колодки и железные оковы.

Там и сям запылали дома.

Над городом взмыл сполошный звон, ударила вестовая пушка, и гулкое эхо пошло разгуливать по горам, замирая в отдалении.

Ко двору воеводы сбегались и скакали стрельцы, разматывая с ружейных замков просаленные тряпки.

– На Волгу! – прогремел призыв Мамыки, и он побежал к берегу, унося на руках стонавшего, засеченного в полусмерть мужика.

- На Волгу!
- По стругам!..

За Мамыкой бежали бурлаки, колодники, ярыжки кабацкие, бездомки и побродимы гулящие.

8

Плыли, кормясь рыбной ловитвой и отвагою.

9

.....
.....

10

Гремит и блещет Волга, с ветра пьяна.
Летит Волга, раскинув пенистые крылья... Волна громит-качает берега,
волнуются-кипят кусты, да э-эх да! стонут синие леса. [44/45]
Ветер выдувал паруса

простор просил песни.

Ночуй, ночуй, Дунюшка,
Ах, да ночуй, любушка.
Ты ночуешь у меня,
Подарю, дружок, те я...

Ах, да ты ночуешь у меня,
Да подарю, дружок, те я...
Подарю дружку сережки
Я серебряные.

Подарю дружку сережки
Я серебряные,
А другие золотые
Со подвесочками...

Ах, да другие золотые
Со подвесочками...
Я на славушку пойду,
Да жемчужные куплю...

Э-эх, как я в разбой пойду,
Я жемчужные куплю...
Соглашалася Дуняша
На Ивановы слова...

Ах, да соглашалася Дуняша
Да на Ивановы слова,
Ах, ложилась Дуня спать
На Иванину кровать...

Ах, ложилась Дуня спать
На Иванину кровать.
Мало Дуне послалось,
Много виделось...

Бежала Волга в крутых берегах. Дружным строем, играя пенными завитушками, катились волны. Намытые корни свешивались в воду, как бороны вросших в землю богатырей.

Над Волгой, под бурями и грозами, невозмутимо стояли широкоплечие дубы, похожие на мужиков в праздничных кафтанах.

Тяжелые струги бежали косяком.

- Яры, - показал Мартьян в сторону, - омуты да уямы, - само место, чертям притон.

- Ну-у-у?

- Да-а-а... Проплывали тут наши низовские атаманы, Тришка Помело да Федор Молчан, и, попутай их бес, заварили замятню, подрались и потопли оба. Доне по ночам из-под коряг стон слышен.

- Царство небесное, вечный покой! - перекрестился Иван Бубенец.

Плыли.

- А вон и Соколиные горы... За ними легла Уса-река да речка Усолка. В той Усолке соляные ключи бьют.

С горы, подобна ручью, стекала вясь каменистая тропа. [45/46]

- Девичья тропа.

- А чего она так прозывается? - в голос спросили два дружка, Полухан и Серега Лаптев.

Мартьян засыпал в трубку, выделанную из коровьего рога, горсть смешанного с вязовой золкой табаку и поведаль:

"...День за день идет, как трава растет. Год за год идет, как вода текет...

Самые старые старики сказывали, будто в давних годах под тем вон горельм осокорем жил рыбак Дорофейка с дочкой Забавушкой.

Дорофейка рыбу ловил, дочку кормил. Забава пиво варила, портки на батю мыла, да все на бережке посиживала - на воду глядела, воду слушала, казака-бурлака Игнашку поджидала.

И такая-то ли гожая да голосистая девка росла, - сокол спускался из-под облак слушать песню ее, и осетры выплывали со дна реки зреть на ее красоту.

А за горами, в шатре с золотой кистью, жил татарский державец Чарчахан. Слыл он славой и богатством, лихой был аламанщик, не чаял ни коней своих изъездить, ни удаль свою размыкать, а вот, как делу быть, и он попал в перетурку.

Объезжал Чарчахан кобылу Подьми-Голову, и вынеси она его на Волгу. Увидал татарин Забаву - ахнул. И черти в горах Соколиных, передразнивая его, ахнули. Борода его крашенная от радости сразу начала в кольца завиваться... Хлеснул он кобылу, залился к своему кочевью и песню басурманскую залотошил.

Наутро опять приехал.

- Молодуха, дай испить.

Девка ему и говорит:

- Лакай, Волга большая, а ковша поганить тебе не дам.

Сказала так-то, да и пошла.

Поглядел ей Чарчахан вслед, крикнул:

- Айда, баская, со мной! Будешь кумыс пить, салму и бишбармак ашать, меня целовать...

- Тьфу!

- Будешь жить со мною в хороше да в радости. Большой шатер, золотые махры...

- Тьфу!

- Подарю тебе сапожки казанских козлов - окованный носок, серебряна подковка...

- Тьфу!

- Подарю бухарский кушак с кистями, как поток...

Повела на него девка серым глазом и еще плюнула. [46/47]

Урезал Чарчахан плетью кобылу свою Подьми-Голову и погнал ее во всю

ноздрю лошадиную, грива стоем встала.

Не спится татарину, не лежится.

Чуть заря занялась, как бурей понесло его опять на Волгу.

- Во сне тебя видал, - говорит, а самого ровно бересту на огне ведет. - Во сне видал - смеялся, проснулся - заплакал...

- Тьфу!

- Снаряжу караван с товарами, и поедем мы с тобой из земли в землю. Ты будешь там, где буду я. И я буду там, где будешь ты. Ветра всех степей будут обдувать нас, будем пить воду из всех колодцев. Солнце поведет нас через горы и пустыни, звезды будут указывать нам дорогу. На привале мокрым рукавом ты оботрешь мне подмышки и пузо, разуешь меня, раскуришь кальян да ляжешь со мною...

- Тьфу!

- С тобой никакая беда не сокрушит меня, как ключ, бьющий из-под камня, не разрушает гору. Будешь пить со мной из одной чаши, есть от одного куска, дыхание свое мы будем смешивать в одно. Мои богатства - твои богатства. Последнее пшеничное зерно раскушу пополам и половину отдам тебе...

Вспомнила Забава бурлака Игнашку, и заиграло в ней...

- Ох, - говорит, - злее зла мне честь татарская! Откачнись, окаянный, не улещай! Мила мне моя сторона русская. Никуда я с Волги не пойду, не поеду.

Раззадорился Чарчахан:

- Подьму народы свои, велю рыть новое русло и Волгу, как верблюда за повод, поведу за собой в пески Монголии, и куда бы мы ни заехали - Волга, сверкая, покатится у наших ног...

Много чего он сулил - не сдалась девка на его упробы.

Уехал - туча тучей.

Малое время спустя налетела на рыбачий стан татарва. Рыбака Дорофейку с камнем на шее метнули в омут раков ловить, а Забаву уволокли с собой.

- Корись! - говорит Чарчахан. - Корись, девка, силе и славе моей.

Девка ухом не ведет и отвечает:

- За стыдное и за грех почитаю некрещеного любить.

И стала она просить, чтоб отпустил ее.

Долго думал Чарчахан и выдумал.

- Пущу тебя на вольную волю, коли сделаешь, что велю.

- Загадывай.

- Видишь озеро? Перетаскай его ведрами в Волгу и тогда пущу тебя.

Согласилась Забава.

День за день идет, как земля гудет. Год за год идет, как метель метет...

Бурлак Игнашка то ль в гульбу пошел, то ль аркан азиатца увлек его в дальнюю сторонку. [47/48]

Забава протоптала через гору тропу в человеческий рост. Птицы склевывали ее слезы, ветер раздувал тоску. Она стала старухой, пока таскала озеро.

Чарчахан в те поры кочевал с ордой на Иргизе-реке. Ему сказали - не поверил. Приехал и, дивясь, зашел в заросшее травой сухое озеро.

И вот, - каждому на рассуждение, кто хочет, верит, а кто и нет, - поднялись все слезы, выплуканные девкой, и в них утонул татарский державец..."

Гулебщики, задрав головы, взирали на Девичью тропу.

Со сторожевой, пущенной вперед будары пыхнул переливистый свист, и махальный заорал:

- Ватарба-а-а!..

На стругах зашевелились.

- Харч...

- Добыча...

Ярмак:

– Вали мачты!

Паруса упали.

– На весла!

В весла сели свежие смены гребцов.

Струги скрылись у берега в талах.

С приверху, вывернувшись из-за мыса, самым стрежнем спускалась расшива. Жирно высмоленные бока ее лоснились под солнцем. За рулем стояли двое в цветных рубашках.

– Ружья на борт... Разбирай кистени... Готовь топоры... – вполголоса отдавал Ярмак приказания и, выждав время, махнул шапкой: – Поше-е-е-ол!..

Плеснули весла

блеснули очи

струги побежали на переём.

– Рви!

– Сильно!

– Взяли!

– У-ух...

– Наддай, ребяташки!

На расшиве чугунный колоколец забил тревогу.

На палубу высыпали холуи в дерюжных зипунах и нанятые на путину для обереганья стрельцы в голубых выгоревших кафтанах. У иного в руках бердыш на длинном ратовище, у иного – пистоль, а то и ружье.

Атаманова каторга бежала ходко.

С борта расшивы сверкнул огонь, ухнула пушка...

Казаков обдало брызгами и картечью.

– Гей, холуй, не балуй! – пригрозил Ярмак пушкарю. – А нето, якар мар, тебя первого засуну дурной башкой в дуло [48/49] пушечье и дам полный заряд, чтоб твоя проклятая душа до самого ада летела с громом.

– Поберегись, злосвет! – ответил пушкарь выстрелом.

Картечь хлеснула и качнула каторгу, каторга черпнула бортом.

– Навались!

Гребцы вваривали вовсю.

Взмокшие рубахи обтягивали взмыленные спины.

Горячие пасти были раскрыты.

– Качай, покачивай!

Осташка Лаврентьев схватил кожаное ведро и принялся окачивать гребцов.

Расшива блистала и гремела огнями.

На передних стругах уже кряхтели раненые.

Стреляли и казаки.

Сближались.

Наконец Куземка Злычой изловчился и метнул на расшиву веревку с крюком.

Рывок

и атаманова каторга у цели.

С криком, гаем бросились на приступ. Кто взбирался по рулю, кто по горбам товарищей.

Расшиву завернуло, паруса заполоскали.

Подлетели остальные струги.

– Сарынь!

– Шары на палы!

– Дери, царапай!

– Шарила!..

Купец Лучинников в длинной холщовой рубахе, с непокрытой головой метался меж людей и вздымал над собой икону.

– Выручай, отцы святители!.. Не поддавайся, ребята! Держись дружно!..

Лезли, матерились.

Есаул Евсюга свергнулся в воду с разрубленной головой.

Отсеченная топором лапа Берсеня осталась на борту расшивы, а сам он свалился за есаулом.

Стонал, зажимая на груди стреляную рану, Бубенец.

Опрокинулся один струг.

Но распаленные яростью казаки уже вломились на палубу и схватились врукопашную.

Взмах

и удар

брань

и стон.

Расшива была взята и разграблена, защитники ее перебиты... Медленно поплыла расшива по воде, завертываясь в полотнища пламени и в клубы смолистого дыма. На высокой мачте раскачивался удушенный купец, над купцом поскрипывал и бойко вертелся жестяной ветряной колдунчик. [49/50]

11

Катилась Волга – торговая дорога стародавняя, голодной отваги приман да дикой песни разлив.

Нагие, подмытые скалы нависали над быстринкою, как недодуманные думы.

На суводях воду вертело котлом... Вода несла, вода рвала.

Леса темны, берега немы.

Ярмак шагнул в будару, будара качнулась и осела. Есаул Осташка оттолкнулся от берега, разобрал весла.

Всю ночь плыли, как и подобает, молча.

Луна метала во всю ширь реки маслянистые блики, стлалась над Волгой живая тишина: нет-нет да и плеснет рыбина, взлетает лисица, ухнет сыч на болоте.

Река дышала спокойно, скрипел кочеток весельный, и где-то далеко-далеко кигикал лебедь.

Атаман, на корме сидя, обмахивался от комара веткою. Предвещая близкий рассвет, Волга закурилась туманом. Луна уползла в засаду. Низко над водой, свистя крылом, пронеслась стайка чирков.

– Ударь! – кратко приказал Ярмак, направляя лодку к серевшему в тумане яру.

Осташка несколькими сильными гребками достиг берега, выпрыгнул, подернул лодку и бросил через топкое место слегу.

Ярмак прошел по слеге, не замарав сапога, оставил есаула в талах, а сам, осторожно разгребая сонные кусты, полез на кручу.

Стан спал.

На разостланных одежинах, на рогожах и так просто на песке валялись люди, разбросав ноги босые и ноги, обутое в лапти из ивовых прутьев и в сочни из кожи дикого кабана.

Сонный кашевар заваривал кулагу в подвешенном на железную цепь артельном котле; котел был столь велик, что в нем можно было сразу целого быка сварить. Два кухаря, кашеваровы подручники, долго перекорялись, кому первому идти за водой в родник, потом стали биться на спор – ложками по лбам. С десятков перекололи, но так друг друга и не переспорили. Кашевар плеснул на них варом, и они, схватив бадейки, побежали к роднику.

Ярмак выступил из прикрытия и крикнул:

– Здорово зоревали!

Кашевар с перепугу упустил в котел мутовку и пересмякшим голосом ответил:

– Слава царице небесной...

– Мир на стану!

– Мир.

Громкий окрик многих разбудил.

Из-под овчин и сермяг высовывались всклокоченные головы, заспанные глаза пялились на гостя. [50/51]

- Чьих родов, каких городов?

- Чего тута стоите?- спросил Ярмак.

- Стоим.

- А чего стоите?

- Атаману ведомо, - ответили хором.

- Где ж ваш атаман?

Ему указали на полотняный, раздернутый под дубом шатер.

Ярмак подошел к шатру и, сложив кулаки трубой, загукал филином.

- Пу-гу, пу-гу...

- Кого нанесло?

- Казак с лугу.

Пола шатра откинулась, из шатра, почесываясь, выполз похожий на косматого кобеля Иван Кольцо.

- А-а-а! - взвыл он, увидав Ярмака, и вскочил. - Ты?!

- Не ждал?

Они обнялись.

- Как гуляется твоей милости?

- Славно! - усмехнулся Ярмак. - Живем не тужим, по Волге кружим... Рубь добудешь, ну, полтину пропьешь, полтину пробуянишь. Всего и барышу, что голова болит.

Он снял шапку и обратился к стану:

- Атаман, товариство, ваши головы!

Узнав Ярмака, кругом закричали:

- Ваши головы, ваши головы!

- Рады гостю преславному!

- Поди-ка на наш хлеб-соль, на нашу кашу!

Иные подбегали и кланялись ему в пояс.

- А вам, соколы, как гуляется?

- Богато живем, с плота воду пьем.

- Торопко плывете, - сказал Ярмак. - Какой день гонюсь за вашим дымом и никак не догоню.

- Атаман понуждает, такой он у нас скорохват.

- А вы его на мясо - да в котел.

- Га-га-га!..

- Хо-хо-хо-хо-хо!..

- Откуда к нам?

- С Дону, братья.

- Не один?

- Ватага со мной, да древний старец Мартьян, да черкасы - обнеси головы - Полухан, Лытка, Иван Бубенец и иные.

- Чуем.

- Кличь ватагу!

- Честь и место!

Посланный с расторопными казаками есаул Осташка Лаврентьев скоро привел и весь свой караван.

Встретились друзья, товарищи, земляки - лей-перелей, и пошли выпросы, охи да ахи... [51/52]

Шайки попиrowали на радостях

дальше поплыли в одном хлебе.

И снова - плесы, перекааты да ветер...

За лето к Ярмаку пристали атаманец Яков Михайлов с людьми, атаманец Никита Пан с людьми, гусак бурлацкий Матвей Мещеряк с людьми и еще несколько бурлацких ватаг и ватажек, меж них и Мамыка, а всего набралось гулебщиков пятьсот и сорок голов.

Довольно оглядывая ножевую оравушку, Ярмак говаривал:

– Ну, як мар, многие от нас города подрожат!
Засвистала осень

ударили-грянули обломные ветра.

Вскосматилась, заревела Волга, закачалась Волга на корню своем... Текли пески, текли кусты, гонимые дыханием ветров свирепых. Обтекал ржавый лист с дерев, никла посеченная седыми дождями тощая трава. Птица вперелет полетела, зверь вперобег побежал, скатывался сом в омуты.

Струги с Волги обратились в Каму.

12

Плыли.

13

Пышна Кама-река, урывистая вода.

С протоками большими и малыми, как волчиха с волчатами, плутала Кама в дремучих лесах, в немых болотах.

Когда-то, премогучие царства стояли на Каме и Волге.

Города шумели многолюдством.

Большая вода несла парусные караваны восточных купцов. Берега отлашались разноязычным говором. Жажда наживы сводила к одному котлу прокаленного горячими ветрами араба, русобородого новгородца и мокроглазого чудина.

Народы умирали, народы рождались.

Из недр Азии, будто ветром выдуваемые, подымались несметные кочевые орды и мчались по многим дорогам, как вестники грядущих бедствий. Лбами окованных железом бревен кочевники разбивали торговые города, на развалинах строили свои крепости да заводили свою торговлю.

На смену приходили сильнейшие завоеватели и на костях побежденных утверждали свое владычество.

И снова – рев и ржанье, лай и топот, взмах клинка и пожаров мятущееся зарево! – снова накатывалась орда, втаптывала в землю вчерашних победителей и кровью смывала их веру, законы и саму память о них... [52/52]

Из просторов Монголии взялись и татары.

На большеколесых арбах, в тучах песка и сами неисчислимые, как песок, они текли, гонимые властной рукой Батая, текли и завивались на бродах и на кормных пастбищах, как песок завивается около кустьев.

От топота монгольских коней, от скрипа и грохота арб дрожала и стонала земля.

На Руси в те поры жила смута.

Город подымал спор с городом, волость – с волостью, удел враждовал с уделом, и князья русские, пускаясь на проньрство, призывали и наводили друг на друга иноплеменников.

Из-за Волги, обесясь, хлынула монгольская конница и затопила землю русскую от степей придонских до рубежей литовских, от Киева до Твери и Новгорода.

Князья с ханами худо ли, хорошо ли, а поякшались – на обе стороны гости с подарками хаживали. Простому же народу была тягость великая, томление и кровопролитие многое.

Три века

плясала над Русью

сабля кочевника.

Добру и злу, по поверью наших дедов, свои положены судьбою сроки.

Время утишило лютость ханов, размыло время силу Золотой орды.

Москва, радением церкви и стараниями хитроумных князей, исподволь копила мощь, наполнялась народом, скупала и покоряла села и города.

Мало-помалу отдохнула земля русская, собралась с кровью, назвала под свои знамена силу многу и стянула с себя татар.

Отхлынув, они осели в Крыму и на волжских рубежах. Однако при Иване Грозном, прокладывая на восток торговые пути, Русь сбила татар с Волги, подмяла их, примучила и обневолила.

Распустив паруса, полетели купецкие да царевы орленые корабли к кавказским берегам и в Персию.

Мужики жили, как и ранее, в великой скудости и убожестве. Батоги князя и вотчинника были не слаще плети татарской. Работали холопы на земле, были сыты и бары. Голод и беды кабального житья стогняли холопов с родных мест, – баре худели и шли в службу к царю или, набрав товаришка, пускались за наживой в далекие края.

Светла Кама, рыбна.

Давным-давно бродили по межречью охотничьи племена разноименной чуди. Незамысловатой снастью ловили чудачки рыбу и птицу, били зверя, выламывали дикий мед.

Завоеватели – болгары, татары, русские – отогнали охотников в глубь лесов и болот. [53/54]

Задолго до основания и разорения Казанского царства с далекой новгородской стороны, с тверских земель, ростовских и суздальских уделов, с озера Ильменя и с реки Волхова, по притокам и протокам пробирались к верховьям Волги отважные русские зверобои и торговые люди. Кто гнался за счастьем да богатством, кто чаял удаля поразмыкать, кто искал пашенного места. Отовсюду ж набегали на Волгу опальные и худородные князья со своими дружинами: из них-то и собирались удалые шайки ушкуйников.

Пришельцы выжигали и секли леса, бороздя меж пней еловым суком; расчищали дороги, через речки и грязные места мосты мостили и ставили на сыром кореню первые поселки. Правом на владение считали затес топора, борозду сохи и взмах косы.

Да этими ж прошатаями и землепроходимцами были построены города Чердынь, Соликамск, Усолье и многие иные.

Во времена стародавние в пустынную наволжскую землю приплыл со многими людьми промышленник Кузьма Строганов. Порыл он землянки, заложил церковку, укрепил земляной город всякими укреплениями и стал жить-поживать да добришко свое приращивать.

По догадкам некоторых историков, корень Строгановых идет от новгородского купечества.

По другим преданиям, отец Кузьмы – Спиридон – был перекрещенным татарским мурзою. Великий князь московский Иван III, пожелав будто бы испытать верность прикормленного мурзы, послал его с малым полчком погромить выдвинутые к границам Рязанского княжества сторожевые улусы Золотой орды. Рать московская была перебита, сам Спиридон попался в плен, где претерпел немилостивые пытки, но ни от веры Христовой, ни от князя своего не отрекся. Татары ножами сострогали с пленника мясо до костей, отчего будто бы и весь род Спиридона стал называться Строгановым.

Кузьма, умирая, наказывал сыну Луке:

– Сей хлеба больше, сей, насколько сила взгребет. На хлеб, как птица, налетит к тебе народ, и умножатся достатки твои... Привечай зашельцев, не жалей для гостя ни куска, ни подарка, ни слова умильного, – далеко понесут они про тебя славу и худую и добрую... Пущее прилежанье имей к торговле, погоняй копейку рублем... Там богатство твое и детей твоих... – Кузьма умер с простертой на восток рукой.

Потомки Строгановы, кроме охотничьих промыслов и бортничества, принялись селитру и соль вываривать, завели прибыльную торговлю с камскими и

зауральскими народами; правдами и неправдами выбивали крестьян с насиженных дворов, купали у мелких солеваров варницы с местом и со всем нарядом; вызволяли из орды русских, отатарившихся пленников и сажали их на своих землях, обязывая соль и селитру варить, серебро и руды из недр копать; выкупали из тюрем пленных немцев и литовцев и под надежным присмотром посылали их торговать мехами за границу. [54/55]

Прикащики, тайком посылаемые на Русь, шлялись по рекам, дорогам, ярмаркам и посулами привольной жизни да задатками сманивали за собой гулящих людишек.

Брели на Каму из-за хлебной скудости и от пожарного разорения мужики с семьями, беглые холопы и всякие вольники.

Всех побродимов Строгановы привечали и к работе допускали, – жить с народом было и веселей и безопаснее.

Рыскавшие всюду русские промышленники наведывались к купцам-солеварам, находили тут приют и ласку и далеко развозили о них славу добрую, речь хорошую.

Сдавна цари московские обращали взоры свои на Заволжье и Урал. Места там были нелюдимы – городишки в счет не шли: были они малолюдны и отстояли один от другого на многие сотни верст. К заселению край был весьма способен и всем изобилен.

Москва, укрепив за собой Волгу, занялась войною с прибалтийскими странами. К восточным же соседям Иван Грозный проявлял большую осторожность и до поры, до времени не решался вступать с ними в открытую борьбу, но зато всячески поощрял к захватам купцов и промышленников, чтоб в случае неудачи самому остаться в стороне.

Повалило Строгановым счастье.

За недолгое время Строгановы купцы были награждены землями и всеми угодьями в Устюжском уезде, на Каме от Лысьвы до Чусовой, на Чусовой и речках, впадающих в нее, – до вершин.

Приводим одну из грамот, ради стройности – в незначительном сокращении.

"Се аз, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, пожаловал есми Григория Аникиева сына Строганова, что нам бил челом, а сказывал, что-де в нашей вотчине ниже Великой Перми, за восемьдесят за восемь верст по Каме-реке – места пустые, леса черные, речки и озера дикие, острова и наволоки пустые, а всего-де того пустого места сто сорок шесть верст. И прежде-де сего па том месте пашни не пахиваны, и дворы-де не ставливаны, и в мою-де цареву казну с того места пошлина никакая не бывала, и оные не отданы никому, и в писцовых-де книгах и в купчих и в правожных то место не написано ни у кого. И здесь на Москве казначеи наши про то место спрашивали пермитина Кадаула, а приезжал из Перми от всех пермич с данью. И пермитин Кадаул сказал, о котором месте нам Григорий бьет челом, и те-де места искони вечно лежат впусе, и доходу в нашу казну с них нет никоторого, и у пермич-де в тех местах нет ужожаев никоторых. И будет так, как нам Григорий бил челом и пермяк Кадаул, и с тех будет с пустых мест дани ни шло, и ныне с них дани никоторые нейдут, и с пермичи не тянут ни в какие подати, и в Казань ясаков не дают, и предь того не даывали пермичам и проезжим людям никоторые споны. И аз, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, Григория Аникиева сына Строганова [55/56] пожаловал, велел ему на том месте ниже Великой Перми за восемьдесят за восемь верст по Каме-реке, по правую сторону Камы-реки с усть Лысьвы-речки, а по левую сторону Камы-реки против Пыскорские Курьи, вниз по обе стороны по Каме до Чусовые реки, на черных лесах городок поставити, где бы место было крепко и усторожливо, а на городе пушки и пищали учинити, и пушкарей и пищальников и воротников велел ему устроити собою для береженья от ногайских людей, и от иных орд, и около б того городка ему по речкам и по озерам и до вершин лес сечи, и пашню спахивати, и дворы ставити, и людей ему в тот городок неписьменных и нетяглых называти. А из Перми и из иных городов

нашего государства Григорию тяглых людей и письменных к себе не называти и не принимати. А воров ему и боярских людей беглых с животом и татей и разбойников не принимати. А приедет кто к Григорию из иных городов нашего государства, или из волостей тяглые люди с женами и детьми, и станут о тех тяглых людей присылати наместники, или волостели, или выборные головы, и Григорию тех людей тяглых с женами и с детьми от себя отсылати опять в те же города, из которого города о которых людях отпишут имянно. А у себя ему тех людей и не держати и не принимати их. А которые люди, кто приедут в тот город нашего государства, или иных земель люди с деньгами или с товаром, соли или рыбы купити или иного товару и тем людям вольно тут товары свои продавати, и у них покупати безо всяких пошлин. А где в том месте рассол найдут, и тут ему, Григорью, варницы ставити и соль варити, и по рекам и по озерам в тех местах рыбу ловить безоброчно. А где буде найдет руду серебряную, или медяную, или оловянную, и Григорию тотчас о тех рудах отписать к нашим казначеям, а самому ему тех руд не делати без нашего ведома, а в пермские ему ужожи и в рыбные ловли не входити. Льготы ему даны на двадцать лет от благовещеньева дня лета 1558 до благо-вещеньева дня лета 1578. И кто к нему людей в город, и на посад, и около города на пашни, и на деревни, и на починки придут жить неписьменных и нетяглых людей, и Григорию с тех людей в те льготные двадцать лет не надобна моя царева дань, ни ямские деньги, ни ямчужные, ни посoshная служба, ни городовое дело, ни иные некоторые подати, ни оброк с соли и с рыбных ловель в тех местах. А которые люди едут мимо того городка нашего государства или иных земель с товарами и без товару и с тех людей пошлины не брати некоторые, торгуют ли они тут, не торгуют ли. А повезет он, Григорий, или пошлет ту соль или рыбу по иным городам, и ему с той соли и с рыбы всякие пошлины давати, как и с иных торговых людей наши пошлины берут. А ведает и судит Григорий своих слобожан сам во всем. А кому будет иных городов людям до Григория какое дело, и тем людям на Григория здесь выправляти управные грамоты, и по тем управным грамотам обоим истцам и ответчикам ставиться на Москве перед нашими казначеями на тот же срок, на благовещеньев день. А как те урочные [56/57] лета отойдут, и Григорию Строганову наши все подати велеть возити на Москву в нашу казну на тот же срок, на благовещеньев день, чем их наши писцы обложат. Коли наши послы поедут с Москвы в Сибирь, или из Сибири к Москве, или с Казани наши посланники поедут в Пермь, или из Перми в Казань мимо тот его городок и Григорью и его слобожанам нашим сибирским послам и всяким нашим посланникам в те его льготные двадцать лет, – подвод, проводников и корму не давати; а хлеб и соль и всякий запас торговым людям в городе держати, и послам, и гонцам, и проезжим людям, и дорожным людям продавать по цене как меж себя купят и продают, и подводы, и суды, и погребцы, и кормщики нанимают полюбовно всякие люди проезжие, кому надобна их помощь. Григорью же с пермичами некоторые тяглы не тянути и счету с ними не держати ни в чем до тех урочных лет. А будет Григорий нам ложно бить челом, или станет не по сей грамоте ходити, или учнет воровати, и ся моя грамота не в грамоту.

Дана грамота в Москве лета 1558 апреля 4 дня".

У подлинной грамоты – на шнуру вислая красная печать. Да на обороте той грамоты подписано так:

"Царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси.

Приказали окольничий Федор Иванович Умной, да Алексей Федорович Одашев, да казначей Федор Иванович Сукин, да Хозяин Юрьевич Тютин, да дьяк Дружина Володимиров".

Спустя несколько лет грамотой, повелевающей крепиться всякими крепостями накрепко и в Сибирской стране, и за Югорским камнем на Тахчеях, и на Тоболе-реке, и на Иртыше, и на Оби, и иных реках, – царь и вовсе развязал Строгановым руки.

Так, по слову летописи, высокими государевыми милостями и благодатью божьей, труды к трудам прилагая, происходили Строгановы из рода в род и из

силы в силу на лучшее.

14

В верховьях Камы, на светлом яйвинском плесе стоял, во всех стенах крепок, будто налитой орех, Орел-городок, рвами и боевыми завалами обнесен.

В бревенчатых стенах трое ворот да наугольные глухие башни с боем пушечным, пищальным и лучным. На башнях караульные шалаши, в шалашах несводные караулы.

Над главными воротами двухъярусная башня с малыми оконцами да с колоколом вестовым, да с образом Николая-чудотворца в резном киоте.

На земляных накатах пушки и к ним каменные, облитые свинцом ядра. Пищали затинные, пищали семипяденные, пищали ручные и к ним свинец и ядра. На дощаных щитах – луки и к ним в кожаных торбах пучки мелко точеных стрел. [57/58]

Церковка немудрая из бревен слажена и узорной резьбы крышей крыта. В церкви образа на камне и дереве, образа на празелени в серебряных окладах, сосуды оловянные, сальные свечи своего литья, паникадило медное невелико – немецкое дело, евангельце печати литовской и закапанный воском святърь (псалтърь) монастырской работы: по пергаменту затейливо вилась, играя златописными титлами, кудрявая строка.

Против церкви стоял, как слитой, двор самого Строганова; рядом с ним – двор попа да двор палача; дальше как попало разбросались двory прикащичьи, двory соляных поваров да подварков, двory пищальников да людские черные избы.

За городом лепилась слободка, в слободке – двory посадские, двory крестьянские, землянки бобылей, нищих и задворников, юрты и шалаши иного языка народов, которых в город не впускали, особенно к ночи.

Сидел в Орле Никита Строганов.

Не ладившие с ним дядя Семен и двоюродный брат Максим уплыли на Чусовую-реку и построили там Чусовской городок.

В Великой же Перми в городке Чердыне воеводствовал царев наместник Василий Перепелицын.

Жили Строгановы, как царьки.

Широко были раскинуты пашни, промысла и рудники, разработки на рудниках производились тайно от царя.

На свой страх и риск затевали они с дикими народцами войны, строили города и крепости. По рекам и на усторожливых местах, на пути ногайских и сибирских людей ставили острожки и караульные вышки.

Торговое знакомство Строгановы вели от Бела моря до ногаев и от Волги до Югорских земель. Людей своих с мелочным товаром рассылали по рекам и землям. Цельми годами шастали доглядчики по дальним странам, примечали и выспрашивали, где, кто и как живет, и, вернувшись с соболями и лисами, выменянными на ножевые железца, обо всем купцам докладывали.

В Устюге, в Калуге, Москве и Вологде торговали строгановские соляные лавки и меховые магазины.

В устьях Северной Двины на своей верфи строили Строгановы свои корабли да на Мурманском побережье был заведен торг немецкий, на который каждое лето приплывали иноземные купцы. [58/59]

Никита, проведав от прикащика, гонявшего в Казань соляной обоз, о зимующих на Каме казаках, заложил тройку и не мешкая погнал в Чусовской городок.

Крутила-мела поземица

буй снега вил.

Большой дом старших Строгановых был отделан еще только вчерне. Волоковые, завешенные меховыми наоконниками и обмерзшие, как медведи, оконца еле пропускали свет. Широкие некрашенные лавки ровно из стен росли, стены и

потолок были закопчены чадом лучины. Во весь передний угол – иконы живописные, подрезные и чеканные, выбитые на меди. В мерцающем свете лампы вспыхивали разноцветными искрами драгоценные камни, суровые лики угодников казались живыми.

Никита вошел в дом, обратился в передний угол и, еще не кончив креститься, начал рассказывать о казаках.

– Много ль тех сбродников? – спросил Максим.

– Того, брат, не скажу. Видать их мой человек видал, а считать побоялся.

– Што так?

– Буйственные, слышно, казачишки. К оружию сручны и в боях удалы, во всю Волгу хабруют.

– Вот как!

Порасспросив о городском строении и о промыслах, Никита вдруг сказал:

– Напустить бы тех казачишек на наших азиатцев, живо припугнули бы поганцев.

– Ы-ы-ы!.. – перекрестился дядя Семен. – Пронеси царица небесная! Они и сами хуже орды, и нас разорят да на дым пустят... Ты, Максимушка, как мыслишь?

– По мне, коли што, отдариться.

– А по мне, – сказал Никита, – послать казачишкам зазывное письмишко, пускай придут и обороняют нас.

– Они оборонят, – своих волос не досчитаешься.

– Даром не пойдут – найдем. Разве ж не повелел государь родителю нашему называть в сей край вольных людей?

– Ы-ы-ы, не любы мне речи твои, племянничек. Отцы и деды наши зазорным почитали якшаться с разбойниками и нам заказали.

– Они и разбойники, а своеземцы и крещены. А вогулы с зырянами – и разбойники и нехристи. Ты как мыслишь, братушка?

– По мне – отдариться!..

– Телятина! "Отдариться"!.. Не позовем, так сами придут, лопухом от них не загородишься.

– Вестимо.

– А коли так...

– погоди, – перебил его брат. – А как взглянет на наше своевольство царь-батюшка? [59/60]

– Будем в надежде, что сие до Москвы не дойдет, как многое не доходило и ранее.

Максим собрал в кулак черную, в кольцах, бороду и сморщился.

– А ежели дойдет?

– Невелика беда, – сказал Никита. – Гоже ему сидеть в кремлевских хоромишках за нашими спинами. Мы со своей мошной туда, мы – сюда, мы – на все стороны, а он... – Никита махнул рукой и досказал: – Не одни мы и на умишке у него, пока еще дознается...

– Уймись, злоязычная безотцовщина! – рассердился дядя Семен и схватил со стола медный витой подсвечник. – Не изрыгай хулу на помазанника божия. Не его ли щедротами живет все купецкое сословие? Не его ль милостями и ты, смерд, жив?... Ы-ы-ы, сила нечистая, стинь с глаз моих, а не то – за ноги да об угол!

Максим встал меж ними.

– Не гневайся, батюшка, Семен Яковлевич, Никита брякнул не со зла, а по дурости. Оно и страшно, а не миновать нам казаков на подмогу звать.

Никита упятился к порогу, сорвал с деревянного гвоздя тулуп и, с шапкою в руках выбежав на двор, крикнул своему человеку:

– Запрягай!

Кони дружно взяли с места и понесли.

Весь обратный путь Никита разметывал умом и так и этак.

Призывать казаков было страшно, а житье без сильной охраны было тоже не уедно: редкий год проходил, чтоб какой-нибудь зауральский князек не учинял набега на освоенные Строгановыми места.

Торговать с инородцами было и выгодно, но дороги кишели лихими людьми.

Не входило в его расчеты ссориться накрепко и с братом Максимом, – дядя в счет не шел: съедаемый недугом, он быстро близился к могиле.

Надумал Никита поговорить о том деле со своим первым советчиком, Петрой Петровичем.

Старший прикащик Петрой Петрович Жарков был беглым монахом и служил еще отцу Никиты, Григорию Аникиевичу. Грамотей и пройдоха, вел он книги памятные и уговорные, сметные и ужимные, хлебные и соляные; языки и наречья туземных народцев разумел; знал, сколько в острожках деревень, починков, дворов крестьянских и бобьльских, сколько во дворах детей, братьей, племянников, внучат, зятей, приемшей – всех по именам и по прозвищам, да сколько пашни распахано, да перелогу, да лесу, да рыбных ловель и звериных гонов, да с кого сколько и когда оброку брать. [60/61]

Вызванный с дальних промыслов, куда он ездил раздавать людям урочный корм, Петрой Петрович явился наскоре.

Хозяин сидел в горнице и попивал вишневую наливку. Вбежал Петрой Петрович и отвесил истовый поклон.

– Вызывал, Никита Григорьевич?

– Ты, братец, того, надень шапчонку-то, а то поди вшей там набрался и мне тут напустишь... Да потуже, потуже нахлобучь, чтоб не расплзались... Ну, рассказывай.

– Слава богу все живы-здоровы, – скороговоркой начал было Петрой Петрович.

– Не тараторь, – остановил его Никита. – Говори ровнее, а то у меня после твоих речей три дня в голове копать стоит.

Петрой Петрович ослабился, раздернул пуговицы домотканого, подбитого беличьими черевами кафтана, откинул полу и, вывернув карман, высыпал на стол горсть дикого серебра.

– Вот, при мне с десяти лопат намыли.

Хозяин ухватил буроватую крупинку, покатав ее в толстых пальцах, подышал на нее, прикинул на руке, надкусил зубом.

– Доброе серебришко. Отколь?

– Из-под Вздохни-горы.

– Еще чего там?

– Баловство, батюшка Никита Григорьевич. Десятник Демидка Савин посягает на девушку Лушку Вятчанку.

– Не по рылу каравай.

– Я ему всяко говорил – и слушать не хочет. "Женюсь" да и только.

– Этак все захотят с женами спать, а кто же о добре моем радеть станет? Пошли Демидку под Вздохни-гору в мокрый рудник, там с него живо дурную кровь стонит. А Лушку... Лушку вороти в золотошвейню, а то они, подлые, всю ее красу расклюют. Да скажи ей... или нет, пускай лучше ко мне сама придет.

– Слушаюсь, батюшка Никита Григорьевич.

Никита тянул душистую наливку, лукавый огонек играл в его сером глазу, а Петрой Петрович часто сыпал:

– За Вишерой опять зьярне пошаливают, лес твой жгут, на нашу сторону за лисами ходят, одного нашего человека прозвищем Колобок забили до смерти и втоптали в болотце. Никудышный был мужичишка, а все-таки божья душа. Долгу за ним полтина пропала, да ржи на масленицу мешок взял, да сапоги яловочные, да...

– Не до того мне ныне.

– Совсем разбаловались ордынцы, грозы над собой не чувят.

– Я тебя, Петрой Петрович, по нужде вызвал. – Никита рассказал о казаках и о своем свидании с братом и дядей. – Призвать думаю.

Прикащик отпрянул и перекрестился. [61/62]

– Што ты, батюшка, господь с тобой! В своем ли ты уме? Называть казаков – все равно что волков к стаду прикармливать. От них и от неприкормленных отбою нет. Я эти народы знаю, видал их да видал. Ощиплют нас, как гусей, и сожрут совсем с потрохами.

– Бог милостив.

– Как знаешь... Мое дело холопское.

Никита немедля еще раз съездил в Чусовской городок и вернулся оттоль веселый; позвал прикащика и решительно сказал:

– Пиши.

Петрой Петрович достал из-за божницы письменный снаряд, развел полное блюдо голубой киновари да, спустив с плеча кафтан, высвободил из рукава правую руку и, помавав ею, – кровь-де застоялась, – сел за дубовый стол.

– Сказывай, батюшка.

– Пиши. "Во имя отца и сына и святого духа. От русских купцов Семена, Максима и Никиты Строгановых казачьему атаману Ярмаку с товарищи, которые казаки зимуют на Каме-реке близко Волги. Имеем крепости и земли, но мало дружины. Идите к нам оборонять Великую Пермь и восточный край христианства..." Пиши. "Приходят басурманы войной на нашу землю и своими безбожными набегами нашим посадам и городам многое пленение и запустение учиняют и всякий задор творят, и нету силы отбить их. Летом 1572 года черемисы и башкирцы русских торговых людей на Каме побили восемьдесят семь душ. Летом 1573 года, на Ильин день, из Сибирской земли, с Тобола-реки приходил с мурзами и уланами султан Маметкул – дороги на нашу русскую сторону проводывал, многих ясачных остяков побил, жен их и детей в полон повел и посланника государева Третьяка Чебукова и с ним служилых татар, кои шли с ним под Казань в орду служить, иных побил, иных в полон повел..." Пиши, да помасленное... "Вы б приплыли к нам, единоверные казаки, и нам служили б. Мы вам за вашу службу жалованье хлебное и денежное хотим дать. Пока шлем малые подарки: селитры батман (десять пудов) и свинцу против селитры в меру, и рыболовную снасть, и гвоздей, и казны бы прислали, да не ведаем, сколько вас голов. Посылаем два постава сукна настрофилю, десять половинок сукна яренку, десять половинок сукна ярославского, да десять половинок сукна гагрецу. Посылаем шестьдесят четей сухарей ржаных, семь четей с осьминою круп, десять четей толокна, двадцать колодок меду и вина две бочки под пятьдесят ведер. А коли похотите к нам ехать, то доверьтесь нашим посылам, они проводят вас по бесстрашным местам. Аминь".

Великим постом, отгюев и помолясь угодникам, Петрой Петрович с людьми и подарками санным путем отправился к устью Камы, где, по сказкам тамошных чувашей, и разыскал казачий стан. [62/63]

15

Уснула Волга, скованная льдами. Уснула Кама, зарывшись в пушистые снега. Мороз рвал дуплястые деревья, выжимал мороз из камня ледяную искру. Стыла в дубах темная кровь. Над поляньями клубился туман. От холода птица колела на лету.

Порыли казаки землянки по пяти сажен меж углов и зажили.

В прорубях рыбу ловили, рыли ямы под волка и лося, капканы и ловушки с заговорным словом ставили.

Кругом леса, в лесах зверье.

Мордвин Зюзя вышел ночью помочиться, волки утащили его от самой землянки. Двое заплутались в лесу и замерзли. Еще один потерялся в болоте: окна – прососы – в болотах не замерзали всю зиму.

В глухом овраге набрел Мамыка на медвежью берлогу. Обвязал себя бурлак веревкою, другой конец которой укрепил за пень, спустился в логово и зарезал сонного медведя, а молодую медведку привел на стан и стал жить с нею в

особой землянке. Скоро он научил ее всяким проказам и прокудам. Спали они нос в нос; грея друг друга, ели из одного котла – Мамыка сопел, а медведка мурмыкала.

В метелях летели мутные дни, летели ночи, налитые свистом ветра да – э-эх! – растяжелой тоской.

Под завывы вьюги много было сказок и бывальщин порассказано. Народ собрался разноземельный и гулевой: иной побывал в Крыму, а то и в самой Туретчине; иной залетывал в Литву или Венгрию; иной кроме Дона да Волги нигде не бывал, но в рассказнях и видалого за пояс затыкал.

Наконец, зимушка подломилась, обмякла и стала сдавать.

В распутицу, как обняла весна, в самое расколе, по последнему санному пути приехал Петрой Петрович с людьми и подарками.

Шумел и гудел на крутом берегу казачий сход.

Мартьян принародно читал зазывное письмо Строгановых:

– "Имеем крепости и земли, но мало дружины..."

Через плечо походного попа, дивясь премудрости божьей, в грамоту зорко вглядывался сотник Фока Волкорез. Его ль ухо не было тонко, и его ль глаз не был остер? Шипенье селезня он слышал через всю Волгу и в темноте на слух стрелял крякнувшую в кустах утку...

Мартьян вычитывал:

– "... С Тобола-реки приходил с мурзами и уланами султан Маметкул – дороги на нашу русскую сторону проводывал..."

Фока ждал: вот дрогнут строки, и меж них плеснет вода, блеснет огонь, сверкнет клинок... Но письма лежали ладом, не шелохнувшись: покойно текла строка, играя титлами... Сотник отошел, сокрушенно вздохнув. [63/64]

Внимали Мартьяну и – кто про себя, кто вслух – вторили:

– Всем по штанам.

– Крупа...

– Порох...

– "... и вина две бочки под пятьдесят ведер..."

Закричали, заметались:

– Винцо на кон!

– Засохло, отмачивай!

– Бочку на попа!

Ярмак:

– Вольное буянство, не галчи! Оравую тоже песни орать, а говорить надобно порознь. Думай думу с цела ума, чтоб нам не продуматься.

И старший кормщик Гуртовый показал горланам свой облупленный и пребольшой, в телячью голову, кулак:

– Во!

Горлохваты понурились, зная, что от кормщика не получишь ни синь пороха, пока не решится дело.

Долго молчали, собираясь с мыслями, потом разбились по куреням и заговорили:

– На Волге жить – нам таловнями (ворами) слить.

– На Дон, братцы, переход велик.

– Не манит и на плесы понизовые.

– Да, в понизовье нам возврату нет.

– Тутошний купец пуганый, добычи нет.

– В Казани стоит царев воевода Мурашкин с дружиною. Коли попадем ему в лапы – всех на измор посадит, а атаманов наших до одного перевешает.

– Большим людям, хо-хо, и честь большая!

– Пускай сунется Мурашка со своими зипунниками! Колотили мы их раньше – и впредь колачивать будем.

В стороне, засунув руки за кушак и полуприкрыв глаза, стоял Петрой Петрович со своими людьми, дивовался на вертеп разбойников и, слушая поносные речи да дерзкую брань, творил шепотком молитву.

А гулебщики уже ярились крутенько.

– Не красно нам, – мычал Мамыка, – не радостно к купцам в службы идти. Воля...

– Волк и волен, да песня его невесела.

– Помолчи, высмерток!

– Я и мал, да удал, а у тебя, полудурок, и в бороде одни блохи скачут, ума ни крупинки.

– И-их, ворвань кислая!

– Уймьтесь, каторжные!

– Костоглоты!

– Не задразнишь!.. У рыбака голы бока, зато уха царска.

– Духа казачьего в вас нет, мякинники!

– А вы – блинохваты! [64/65]

– Не бранись, ребята, играй в одну руку.

– Будя шуметь! От шаты-баты не станем богаты.

– Там нам будет кормно. Поживем, отдохнем, кровью соберемся, а далее видно будет.

– Обещают бычка, а дадут с тычка, и пойдем утремся.

– Правда твоя, Лукашка, с купцами нам рыбы не едывать, – костями заплкуют.

Слово за слово, зуб за зуб.

Двое раздрались, остальные бросились разнимать, и пошла потеха, только ключья полетели. Мамыка сбывился и отошел к старикам: по силе ему не было ровни во всей ватаге, в драку бурлак никогда не ввязывался, после того как однажды чуть не убил человека – в лоб пущенным с ногтя – медным пятакон.

Старики посмеиваясь глядели на побоище, посасывали трубки, а иной еще и покрикивал:

– Ругайся на стану вволю, бейся дома досыта, чтоб в походе жить нам в ладу да в миру.

Долго пришлось старикам ждать, пока драчуны утихомирятся. Мартьян поднял руку и призвал:

– Будя, товариство! Думай во весь ум, что нам делать и как нам быть?

Гулебщики потирали шишки на головах, щупали разбитые носы и понуро молчали. Превеликие умельцы кистенем бить, на игрища и на хитрости горазды, которые и на работу слыли валкими, а языки у всех были привешены криво.

Иван Бубенец, с казачьей стороны, зыкнул:

– Плыть!

Бурлаки опять заспорили!

– Не плыть!

Казачи в один голос:

– Плыдем, плыдем!

Мамыка:

– Думай не думай, сто алтын не денежки... Плыть так плыть!

– Поплыли!

– Атамана за бока!

Повременив и послушав голоса, Мартьян сказал:

– Всяк своей голове хозяин. Вольному воля, бешеному поле, удалому легкий путь... Кто с нами – гуртуйся ко мне, кто не с нами – отходи прочь.

Закачались, зашумели, как камыш под ветром.

Иные отошли было, но поглядели друг на друга, поскребли затылки и вернулись в общий круг.

– А коли плыть, – опять приступил Мартьян, – то надобно нам выбирать коренного атамана на камский поход. Кого похотите?

– Ярмака!

– Ярмака на круг!

– Хорош, сулил за него черт грош, да спятился. [65/66]

– Никиту Пана, умен...

- И умен, да неувертлив, сам себе на пятки навалил.
Гогот подобен залпу.
- Нам хитрого да погрознее.
- Ивана Кольцо.
- Долой Кольцо! На него наде́жа, как на старого ёжа.
- Запивоха и до баб ходок. В Астрахани кинжал и последние штаны с себя пропил. В Дубовку к нам без штанов прибежал. Хо-хо...
- Мещеряка в атаманы.
- Не гож, не гож! Не ходить нам, казакам, под гусаком бурлацким.
- Ярмака!
- Ярмака-а-а!..

Мартьян:

- И я мыслю - Ярмака. Люб или не люб?
- Люб!
- Гож!
- Люб, люб!
Ярмак снял шапку, шапка - малиновый верх, из-под шапки чуб волной.
- Благодарствую, братья, за привет и ласку, а только постарше меня атаманы есть.
- Люб!
- Послужи!
- Из старых порох сыпится.
- Волим под Яр-ма-ка-а-а-а!..

Ярмак долго отказывался, как того требовал обычаи, и пятился за спины других.

Старики вывели его под руки и поставили в круг.

- Люб!

Ярмак поклонился:

- Ну, коли так, добро... Только, якар мар, на себя пеняйте. Я сердитый.

Круг гудел и стонал:

- Люб! Ладен!

Мартьян подал Ярмаку обитую медными гвоздями суковатую дубинку.

- Милуй правого, бей виноватого.

И всяк, кому хотелось, подходил к выбранному атаману и, по древнему обычаю, мазал ему голову грязью и сажей с артельных котлов и сыпал за ворот по горсти земли, приговаривая:

- Будь честным, как земля, и сильным, как вода.

Кормщик Гуртовый выкатил на круг бочку с даровым вином и позвонил ковшом о ковш.

- Налетай, соколы!

Ковши пошли вкруговую, загремели песни, - повольщина обмывала своего коренного атамана. [66/67]

Гулкий ветер обдувал поля.

Ноздристые снега сползали в низины. Синие сороки-стрекотухи расклевывали почки зацветающей вербы. На лесной поляне, на солнечном угле резвились пушистые лисенята.

С галчиным граем, с косяками курлыкающих журавлей прилетела весна-размахниха.

Разыгрались как-то Мамыка с медведкой да и раскатали землянку по бревну. Медведка, фыркающая и обнюхивая прелую хвою, припустилась в лес с такой прытью, что бурлак и смигнуть не успел, как она скрылась в чащобе. Он, как был в одном сапоге и без шапки, кинулся за ней и - пропал. Спустя время вернулся и - вернулся один.

- Ну, - потешались товарищи, - к осени пойдет твой косматый сынок по лесам, по болотам чертей полошить.

И до того был нелюдим Мамыка, а тут и вовсе задичал, - задавила удалого

чугунная тоска.

Ночью

река дрогнула

тронулась...

Разбуженные треском и шорохом плывущих льдов, гулебщики вылезали из прокопченных логовищ и, тараща в темень глаза, размашисто крестились.

- Ого-го-го!.. Пошла матушка!
- Пошла!
- Час добрый!
- Гуляй, голюшки! Гуляй, гуленьки!
- Запевай, братцы, артельную!

Во всю-то ночь мы темную,
Непроглядную, долгую

ухнем,
грянем!..

Нам гусак кричит: "Давай!"
Мы даем, сильно гребем

да-а-ы,
ухнем!..

На берегу костры и говор, песня, звонкий перестук топоров, смрад кипящей смолы. Кто из лыка веревки вьет, кто дубовые гвозди строгает.

Разметала Кама льды, хлыном Кама хлынула: тут остров слизнет, там - двинет плечом - берег сорвет.

И Волга, играя и звеня под солнцем льдиною как щитом, всей силой своей устремилась в дальний поход.

На дереве начал лист разметываться; птица суетливо завивала гнездо; подобны облакам, гонимым полуденным ветром, летели станицы гусей да лебедей; пролилась весна зеленым дождем, хлынула красна в долины, зажгла лес, затопила луг и поле...

16

Плыли, отдыхая на радостных местах.

17

Славна Кама осетрами!

Высокое небо

синий простор.

По верхам дерёв дремотно шумел ветер. Солнце падало на воду, качалось солнце на волне, тонуло и вновь всплывало, взвивалось над водами и твердью. С черемух и диких яблонь осыпался цвет, дух от того цвету шел веселый. Пчелы пили росу. И от вечерней зореньки да до утренней в темных лесах гремел и сверкал соловьиный свист.

Плыли.

Вешняя вода тащила деревья и дрязг и копны сена. Шумела грозная вода, трепала ветви точно всплывших прибрежных кустов. Ухая обваливался подмываемый берег. В быстрых струях колебалось и угасало отражение висящей над кручью березы. Чай, листовая сребристым крылом, с суматошным криком гонялся за чайкой.

Плыли.

Мимо яров, мимо развалин старинных болгарских и татарских крепостей. Попадались безыменные деревнюшки, и дети, провожая караван, далеко гнались по берегу с заульными криками. Дремлющие в зеленых зарослях озёра были полны

тишины и света. На озерах табунилось великое множество птицы, – казаки набирали полные лодки гусиных и утиных яиц.

Плыли.

Немудрой снастью ловили икряную рыбу, били на мясо медведя и кабана. Однажды орда белок преградила стругам путь: несметной силой, подняв хвосты торчком, два дня и две ночи кряду переправлялись зверки через реку, – казаки хватили их руками, били палками и из шкурок беличьих нашили легких шубеек и одеял.

Плыли.

Гад заедал – никакими хитростями и сбруями немисливо было от него защититься. Гад лез в глаза, в рот, в уши, не давая вздохнуть. Пороку за гуденьем комара не слышно было плеска волны и шума леса. Лось, спасаясь от гада, покидал дебри, выбегал на открытое место и ложился в воду да так, выставив морду, и дремал. Один сохатый запутался рогами в прибрежных талах, и его взяли жива, освеживали, растяпали на куски, и, пока наводили костры, комары высосали мясо добела – лосину не стали есть и собаки. Иногда на пригорок, под ветер, со стонущим ревом [68/69] вылезал закусанный гадом медведь. Уличенного в лихо́й корысти астраханца Исто́му Беса, по приказу куренного атамана, раздели догола и привязали к дубу: всю ночь комары висели над ним гудящим столбом и к утру заели насмерть. Когда варили варево, то кухари собирали нападавшего в котлы гада полными ложками. Жалил комар, душила мошка, была пестрая муха, жало которой было острее шила. Ошалелые от изнурения люди задыхались от едкого кура, разложенного на стругах и вокруг стана, метались, лезли в огонь и нигде не находили себе спасения. Повизгиванье и воркотня осатаневших собак; псы зарывались в песок, забивались в гущину колючих кустов или, кувьркаясь через головы, как бесноватые мыкались по лугам, по лесам, но свирепые комариные орды всюду настигали их, липли к кровоточащим ранам, объедали голые места в ушах, под хвостом и под брюхом, объедали губы, нос, веки, да так, что глаза совсем заплывали кровью. Слепшие собаки, стелая, бежали за караваном по берегу и, выбившись из последних сил, отставали, гибли.

Плыли.

Ждали крепкого ветра, как праздника.

Сказка засольщика Панкрашки Лоскута:

"...Давно, братцы, было, в те блажные времена, когда козы волков драли.

Жил на гречушных горах царь Федул, и был он тяжел для народа своего. Головушка на него была насажена с пивной котел, а ума в ней было чуть. Знал он песни играть, в дудки дудеть, а всеми делами завладели и ворочали мудрецы-думщики. От вольной жизни, то ли от дурости такая у царя борода разрослась, – залетит в нее воробушек и не найдет, бедный, вылету.

Росла при отце дочь Светлянка, красавица-раскрасавица.

Вот раз поехал царь Федул на охоту, а вперед пустил тышу прислуг. Они и давай чертей полошить: лес рубят, траву секут, камень ломают, камнем дорогу мостят, метлами метут и коврами устилают. Сам царь на золоченой телеге едет – только колеса гремят. По сторонам дурни и холуи скачут: кто от царя мух гоняет, кто ему песни поет, кто в барабаны бьет, кто бороду по волосу расчесывает, кто в пасть ему съедобье лопатой сует, кто волосату спину чешет, кто хвалит его дородность и красоту, кто славит ум и доброту, кто мужиков разно ругает.

Наохотился царь, – навалили перед ним зверя гору, – устал и лег спать под дубом. И привиделся ему диковинный сон. Проснулся весь в черном поту, созвал мудрецов-думщиков и спрашивает:

– Што такое?.. Лежу будто я поперек реки, запрудил ее, а вода через меня хлещет. Из ушей, из ноздрей у меня пшеница растет... Што такое? [69/70]

Мудрецы-думщики три дня в книгу глядели, три ночи думали и ничего не выдумали.

Рассердился царь и говорит:

– Кто разгадает мне сон, тому полцарства и дочь в придачу отдам!

Позвали одного усача рыбака, он не стал много растабаривать и сказал коротко:

– Так и так, царь, завтра тебе умирать.

Испугался царь Федул, и волосы на нем медведем поднялись.

– Я с тебя, – кричит, – такой-сякой, завтра шкуру спущу!

– Это дело нехудое, – отвечает рыбак. – Ты переживи завтрашний день, тогда и спускай с меня шкуру.

Царь объелся медом, и к утру дух из него вон. Полцарства он рыбаку не дал и в дочери отказал, ну, а все-таки перед смертью поставил его старшим над всеми мудрецами-думщиками.

Живут.

Рыбак вино пьет, яйца вволю ест и к царевне молодой подбирается. Светлянка царствует, а рыбака к себе ближе чем на сажень не подпускает. Ну, а мудрецы были свирепы, – зависть берет, рыбак в царски дела путается, – и всяк только и думает, на какую бы хитрость пуститься, чтобы рыбака со света сжить.

Приходит к царевне один мудрец и говорит:

– Было мне виденье и голос от твоего батюшки. Велел он рыбака к себе прислать, чтобы окуньков ему на ушицу наловил.

Согласилась Светлянка. Рыбак с похмелья во дворце мучился. Холуи схватили его, завернули в сети и поволокли на реку. Стрелили на берегу деревьев пребольшую кучу, рыбака взвалили, сучьями забросали да и зажгли, чтобы душа его с дымом на небо летела. Рыбак унюхал – паленым пахнет, сразу очухался и думает: "Жить тошно, да и умирать не находка". Выпутался из сетей, в дыму потихоньку к воде сполз и уплыл на остров. Мудрецы-думщики обрадовались, что избавились от него и опять за свое, начали царством ворочать.

Живут.

Прошло сколько-то время, подъявился рыбак как ни в чем не бывало – и прямо к царевне.

– Так и так... Близко ли, далёко ли, долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли, а побывал я у твоего батюшки и рыбки ему наловил, насолил.

– О чем он с тобой побеседовал? – спрашивает дочь.

– О чем ему со мной, дураком, беседовать? – отвечает рыбак. – Просил он для умной беседы всех мудрецов-думщиков той же дорогой к нему прислать.

Мудрецы – круть-верть, туда-сюда, не тут-то было. По приказанью царевны, свалили их всех на кострище и сожгли [70/71] под барабанный бой. Рыбак не будь дурен, царевну на себе оженил и сам царем стал. Весь народ возрадовался. На целый год пошло у них пированье. И я там был, вино и мед пил, украд царев шлык, в подворотню – шмыг, и поминай как звали..."

Отгремела весна

отсверкала красна.

Кама вбралась в берега, загустели леса, в лесах – калина, малина и дикое вишеньё, хоть косой коси.

Заря зорю встречала.

В лесах тосковала кукушка, на перекатах судак бил малька, и по ночам – в грозы – над омутами, как свиньи, плескались сомы.

Крепко спится под шум ветра, под плеск волны.

Шли своей силою на веслах и на шестах, и бечевою, подпрягая в лямки набранных по пути татар и чувашей, бежали парусным погодьем.

Секли дожди, хлестала волна.

Полон дикого своеволья и напористой силы, Ярмак не щадил ни своих, ни чужих костей и – гнал. Вставал он раньше всех, наскоро молился на закопченную складную икону и тормошил караванного:

– Поплыли!

Караванный поднимал куренных старшин:

– Поплыли!

Куренные старшины будили людей:

– Поплыли!.. Поплыли!..

Подымались лохматые, рваные, с запухшими от комариных укусов рожам, крестились на алевший восток, обжигаясь хлебали заранее сваренную кухарями ушицу и, на ходу дожевывая обмусоленные овсяные лепешки, валились к стругам.

– Поплыли!

– Водопёх, выбирай бросовую, толкайся!

– Загребные, на весла!

Струги гуськом пробирались вдоль бережка.

– Ох, братцы, спал я нынче, – клвой ворона глаз – и носом бы не повел.

– Всех нас атаман примучил, ребро за ребро заходит.

– Торопыга.

– Крутенок батюшка, да пререкаться–то с ним не приходится.

– Терпи, кость, плывешь в гости.

– Вестимо, на то и гульба...

– Горе наше тут гуляет..

В самую жару устраивали привал. Наскоро пожевав чего придется, расползались в кусты и, укутав головы в тряпье, отдыхали. В полуденной тишине сонно бормотал ручей, перебирая [71/72] обмытые камни. Склонившись над ручьем, как замороженные дремали ивы.

И снова атаман гнал по стану позывать:

– Поплыли!..

В полулета добрались до Орла–городка, бревенчатые башни которого были видны издалека.

Горел праздничный день.

На звоннице звякал колоколичка. Усыпанный народом берег гудел, переливался цветными рубахами и сарафанами.

Купались невдалеке ребяташки, – были накатаны они на песчаную отмель словно крашенные луковым пером пасхальные яйца. Голые девки лежали на светлом песке одна подле другой, будто тугоносые осетры на багренье.

Из плоток казачьих лился яростный свист и хохот:

– Э–э, пчелки!медок!

–

– Бабы, бабы, соловья вам нады, а то собакам выброшу...

Девки расхватили одежду и, сверкая наготою так, что у гулебщиков глаза ломило, бежали в талы.

Атаманова каторга легонько ткнулась в берег. Ярмак в чекмене темно–зеленого сукна шагнул через борт.

– Мир на стану!

– Мир! – отозвался старший Строганов.

– Славу Иусу и царице небесной.

– Аминь.

Мужики, по хозяйскому наученью, сдернули войлочные шляпчонки и пали на колени.

Позади Ярмака степенно переминались с ноги на ногу есаулы, из стругов на берег выпрыгивали казаки.

Строганов шагнул навстречу атаману.

– Кланяемся вам, достославные казаки, хлебом–солью!

Ярмак принял пудовый каравай с берестяной солоницей, доверху насыпанной крупной, зернистой солью.

Дочка Семена Аникиевича обносила есаулов чаркою. Есаулы пили и, обсасывая ус, кидали в чарку по золотому.

Дружина покинула струги и направилась к церкви. Заворотники размахнули

крепостные ворота на пяту, и гости вошли в городок. Дорога была устлана белеными холстами, дома убраны ветками зелени.

18

Привальный пир, хмельные речи.

– Ешь, гостечки, досыта! Пей, гостьюшки, долюби!

Атаман и есаулы очестливы, в слове уметливы:

– Мы, хозяин, в чужом дворе беспорники, – что поставят, то и пьем.

[72/73]

Строганов ножом перекрестил хлеб, нарезал крупных ломтей и налил по первой чарке.

– Буде пьешь до дна, так выдаешь добра.

Ярмак:

– Мы приплыли не большие пиры подымать, а землю пермскую стеречь и своей службой показать вам нашу казацкую правду... Так ли, товариство?

– Так, так!

Старший Строганов, Семен Аникиевич, кланяясь, пошел вокруг стола со всеми чокаться.

– Слово твое, Ярмак Тимофеевич, мне приятно. Один у нас бог, один и царь. Велеумный царь, с Волги татарву пугнул, полячишек за Смоленском гоняет, Литву поганую душит. Что ему своевольщики новгородские? Затычки оконные! Бьет он их, кладет, кровью умывает. Что ему думные бояре и зазнайки князья? Пыль толоконная! Кнутом он с них шкуры спускает, а которым и головы тяпает... Первые подручники государю мы – купцы, да вы – удалые казаки. Преславный царь, грозные очи...

Мамыка заржал, заметалось пламя свечей.

– Чего ты нам его нахваливаешь, как цыган лошадь? Мы его и сами не хаем и видом его не видали, а вот псаря у него ой люты!.. Так ли, товариство?

– Так, так!

– Верно!

– Не перетакивать статью.

Захмелевший Матвей Мещеряк поднялся, расплеснул из полна кубка вино и сказал:

– Мы на Русь лиха не мыслим. Царствуй царь в кременной Москве, а мы казаки – на Дону и Волге.

Есаулы закричали:

– Правда твоя, Мещеряк, правда!

Купец засмеялся через силу:

– Э-э, кто богу не грешен, царю не виноват? О том ли нам речи весть?..

Музыка!

Заглушая дерзкие голоса, взвыли дудки, согласно заиграли литаврщики. В хороммах будто и просторнее и светлее стало.

Мещеряк подпер скулу кулаком и рявкнул:

Венули ветры

Да по полю.

Грянули весла

Да по морю...

А лихой на язык Иван Кольцо подсел к хозяину и начал похвалиться:

– Я на своем веку сорок церквей ограбил. Попы поволские и рязанские поныне кланут меня и предадут анафеме. Ха-ха-ха!.. Я, борода, в походы ходил, я орду громил, купцов обдирал и в Волге топил... [73/74]

Строганов отодвинулся.

– Бог тебе, братец, судья да атаман твой.

Ярмак:

– Шабала, без ума голова, несет невесть что... Уведите его!

Брязга тащил буяна прочь, но тот разбушевался:

– На Волге...

– Молчи, пустохваст!

– ...городов и деревень я пожег бессчетно! В орду пойман был – из орды ушел. В астраханском остроге двупудовой цепью, как кобель, был прикован к стене, да и то сорвался, на Волгу убежал. Сам царь, слышно, клянёт меня. Не ляжет мне могильным камнем на сердце и царская клятва... Ха-ха-ха!..

– Емеля, Емеля, вымыслы твои лихие... Вяжите его!

Брязга засунул буяну в раскрытую пасть меховую шапку и уволок его в сени.

На столах, застланных вышитыми скатертями под одно лицо, – саженный осетрище; да олений окорок; да медвежий, приправленный чесноком и малосольными рыжиками, окорок; да подовые пироги с вязигою; да лосиная губа в кровяной подливе; да тертая редька в меду; да стерляди копченые и ветряные; да белые с красным брызгом яблоки по кулаку; да на большом деревянном блюде выпеченный из теста казак на коне и с копьем.

подавали проворно меняли яства.

Чашники разливали по кубкам брагу, наливки и настойки, привозные с Бела моря фряжские вина и меды домашние – мед пресный, мед ягодный с пахучими травинками, мед красный, выдержанный в засмоленной бочке до большой крепости, мед обарный с ржаной жженой коркой.

Никита Строганов круто солил Ярмаку кусок и приговаривал:

– Ешь солоно, дом мой знай.

В лад ему Ярмак отвечал:

– Хлебу да соли долот век.

Мартьян:

– Места тут у вас нелюдимые. Плывешь, плывешь – ни дыму не видно, ни голосу не слышно.

– Справедливо твое слово, батюшка отец Мартьян. Сидим в нашей вотчине, как сычи. Лес палим, пни корчем, ставим новые роспаши, а земля мясига – ни соха ее, ни борона не берет. Где рассол найдем, тут и варницы строим, и соль варим, и трубы соляные и колодцы делаем к соляному варению.

– Какие народы соседствуют с вами?

– На Ирени и на Сылве татары и остяки кочуют, на Яйве и Косьве – вогуличи, а под Чердыню и далее на Устюг зыряне и вотяки бытуют... Лешая сторона!

– Татар мы знавали, а вот о зырянцах, вогульцах и остяках не наслышаны.

[74/75]

Слово старшего Строганова:

– Народишки те ремесел некоторых не знают и продолжают свою дикую жизнь выпасом скота, ловлею рыбы и зверя. Противны им обычаи и все дела наши и наша христианская вера. Соль варить и руды разрабатывать сами не хотят и не умеют, а когда мы за дело взялись, смотрят на нас с завистью. Через наши руки царь Иван Васильевич, по доброте своей, шлет поганцам подарки, чтоб от сибирского султана Кучума их к себе в ясак переманить, а я, грешник, последнее сукнецо придержал: свинью горохом не накормишь, хе-хе... Живут, будь им неладно, как-то нехотя – ни двора, ни амбара. Кругом лес, а у них поля земляные. Кнутовище прямое лень выломить, привяжет на кривулю лычко узлом и гоняет. Скотина зимой на юру мерзнет, а летом ее гад заедает. Тонут в трясилах и болотах, мосты настелить не смыслят. Только и глядят, какую бы пакость русскому пришельцу сотворить. Всякими укреплениями и лихими вымыслами от злых неприятелей оберегаемся, многие скорби и досады от них принимаем...

И долго еще наперебой сетовали Строгановы на свою горькую судьбину.

На дворе пировала ватага.

Столы были завалены хлебом, пирогами с рыбой и рябиною, заставлены блюдами со снедью да корчагами с говяжьими щами, киселями и кашею. На

кострах палили свиней, жарили баранов.

Над гульбищем стон стоял, стлался жирный дым да сытый говор. Обожравшиеся ватажники сидели и полулежали на кошмах и одежинах, набросанных на убитую землю. Один бывальщину рассказывает, другой похвывается тем, что осквернил сто девиц...

Петрой Петрович прохаживался меж пирующих и приговаривал:

- Просим вашей чести, чтоб пили, ели да веселы были. Гостю наш почет, гостю наша ласка.

- И то, старик, едим сладко, носим красно, работаем легко.

- По заслугам и кус.

- Мы приплыли не с разбойным подступом, а по-доброму.

- Коль с добром пришли, то и приняты будете приятно.

Бурлак Кафтанников шел в обнимку с казаком Лыткой и пьяно, с надсадою хрипел:

- Друг...

- "Шутьрила-бутьрила", - напевал Лытка.

- Друг, на Руси житье мужику хуже медвежьего...

Лытка тронул волосяные струны балалайки и сыто рыгнул:

- Оно так, дядя Лупан, плавать веселее: то золота полна шапка, то до пупа гол... "Шутьрила-бутьрила на лапте дыра..." [75/76]

- Медведь всю зимушку дрыхнет, лапу сосет, а мужик и зиму и лето знай ворочает...

Лытка остановился, поглядел на бурлака, сбил его кулаком с ног и не оглядываясь пошел дальше, распевая во всю глотку!

Шутьрила-бутьрила
На лапте дыра.
Жулики-разбойники
Ограбили меня...

А Кафтанников, размазывая кровь по усам, кричал:

- Друг, облей-обкати сердце!

По кругу шли, кланяясь, кувшины с вином и брагою.

У погреба были расставлены бочки с квасами - квас сычоный, квас малиновый, квас вишневый, квас житный, квас выкислый.

На даровое угощение приплелись дряхлые старики и старухи. Одного, совсем умирающего, сыновья привели под руки; хлебнув вина, он ожил, а потом и песню затянул. За амбарами в темноте нищие и подростки допивали из опорожненных бочек гуцу и ополоски.

Вокруг Куземки Злычого собралась дворня, слушала развеса губы. Врал Куземка, аж земля под ним зыблилась, врал - сам себя не видел...

- У нас на Дону живут богато, казаки ходят в сапогах, а бабы все до одной брюхаты. Добра-то, братцы, добра! Золота, серебра, бархата и холста на каждого аршин по ста. А землю у нас быки рогом пашут, козы боронят. Птица на Руси зерно уворовывает и, возвернувшись на Дон, поле казачье засекает. Солнышко ниву пасет, бог ниву дождем сечет. Глядишь - и поспел урожай. Снопы сами на двор приходят, бабы молотят, мелют, лепешки пекут, а мы, казаки, поедаем да винцом донским запиваем. А пчелы, братцы, на Дону и Донце - каждая по овце. С поносу летят, аж кусты трещат. Вот она где жизнь!

- Послушать тебя, казачок, так житье вам было на Дону, как воробьям в малинике. И чего вам не пожилось там?

- Мы народы гулевые, народы тертые, не любим на одном месте сидеть... А бывал ли из вас кто на горах Жигулевских? Въедешь на те горы, и солнышко - вот оно, пикой достать можно. Привязал я раз коня месяцу за рог, а сам спать лег. Проснулся, гляжу со сна: мать честна! Месяц ушел и коня увел. Парень я догадливый, пальцы в зубы, да как свистну! Конь был удал, услышал меня, поводок оборвал - и бултых в Волгу. Скоро и ко мне на зов приплыл... Эх,

Волга–мать, река быстра, по тебе сомы бьются, аж пыль столбом!

Смех дворни заглушал Куземкины рассказы...

Фока Волкорез хлестал в ладони.

– Гей, юр, юрки, вор с ярмарки!

Черны руки размахались, скоры ноги расплясались. [76/77]

Много чего ватажники стрескали, а не могли яств повесть, пития попить. Иной, распустив брюхо, ел стоя, чтобы больше утряслось; иной отбегал в сторонку и, запустив палец в рот, изрыгал съеденное и вновь, приплясывая, возвращался к столам.

– Жри, Митюха, калач мягкий, рот большой!

Взгрустнулось о Доне, в песне всплакнули о Волге...

Есаул Осташка Лаврентьев – брови черны, огневые глаза – и с ним несколько казаков, что были потрезвее, прикудрявились и пошли в слободку к девкам.

Всю ночь на крепостных башнях перекликались охраняльщики и били колотушками в чугунные доски.

Гулебщики до свету песни орали – над городом, как зарево, зык стоял...

19

Пала осень, стрезни затягивало песками. Мерцающая, текла усталая осенняя вода. Зверь, напуганный шорохом опадающих листьев, покидал дебри и выходил на открытые места. Ветер расплетал березыньке косу рыжую. Мокрая ворона, хрипло каркая, качалась на голой ветке.

Закормили, задарили Строгановы казаков. Разделившись на малые отряды, несли казаки по острожкам сторожевую службу и показывали свою казачью правду.

Бунтовали на Каме черемисы и башкирцы, задавленные непосильным ясаком. Казаки к ним сплавали – самых пуших перевешали, остальных всяко настращали и обложили двойной данью.

Таясь, как волк по чащобам, приходил под Чусовской городок и под Сылвенский острожек мурза Бегбелий с вогулами и остяками. Казаки тех налетчиков перебили из головы в голову, а самого Бегбелия поймали и в земляной тюрьме ему жить указали.

Украдом, пустясь на многие хитрости и козни, приходил под Пермь мурза Кихек с тюменскими татарами и косьвинскими зырянами. Казаки и этих находцев переловили, перебили, а самого Кихека сотник Черкиз застрелил на приступе в припор ружья.

Согнали казаки с дедовых стойбищ иренских и сылвенских татар и остяков. Строгановы на тех землях расселили своих людей, приставив их к соляному и пашенному делу.

Жители одного лесного аула не захотели уходить с обжитых мест и, усоветовавшись, порыли земляные норы, укрепя их жердяными подпорами, и спрятались туда со всеми животами и со всем имением своим. К храбрующим казакам жители выслали одетого в смертную одежду древнего старика, он пал на колени и сказал:

– Мы живем тут с искони веков и крепко привержены к болотам, лесам и травным удолиям своим... [77/78]

Казаки дивились тишине точно вымершего аула и стали выпрашивать старика, много ли у них богатства и куда попрятали девок?

– ...в озере рыбу ловим, по лесам зверя бьем, тем и кормимся. Мы злодействуя не ходили на войну, и к нам злодействуя никто не приходил войною.

Иван Задня–Улица опрокинул его пинком, – носок сапога Иванова был окован медью, – и взревел:

– Глаза нам не отводи! Кажи, где чего есть!

Старик бормотал свое:

– Обираем по лесу дикий мед да лубья дерем, смолу гоним да пиво варим, молимся...

Илюшко Чаграй за волосы поднял его с земли.

– Сказывай, коли хочешь жив быть, где ваши девки, где зверобойная снасть, где всякая хурда-мурда?

Посыл понял, что кротостью их не возьмешь, и начал плевать, ругаться и выкрикивать заклятья и наговоры косьвинских и кондинских колдунов:

– Захлебнуться бы вам своими грехами, горячие угли вам в глаза, сосновые иглы в печень, в кости ломота!.. Тьфу, тьфу, тьфу!.. Камни и пеньки вам в брюхо, муравьи с семи полей в глаза, рак в бороду! Тоскою, как дымом, да застит и разьест глаза ваши!

– Ну, будя, старый, шуметь, – сказал Чаграй и, накинув ему веревку на шею, повел к сосне.

Старик подал условный свист, и лесные жители, возрыдав, вышибли жердяные подпоры и погребли себя под землю со всеми животами и со всем именем своим.

Широко раскинулись владенья Строгановых.

В земляных и каменных норах рылись копачи, добывая железную и медную руду да закамское, с голубым отливом серебро.

На поляне гончары выделывали горшки, в кузницах из своего железа ковали сохи, копыя и всякие поделки, нужные к соляному варению.

Зимогоры, расчищая место под пашню, секли лес на дрова, жгли уголь, корчевали пни.

Блистали огнями, дымились варницы. Где из озер, а где из глубоких колодцев приставленные люди черпали соленую воду и наполняли ею железные цирени (корыта), из коих повара и подварки выпаривали соль.

Лопата звякала о камень, хлопал кнут погонщика, копач врубался в грудь горы. В темном забое слеп глаз, могильный холод знобил кость, но упорно гремели удары, из-под кайла стреляла искра. Скрипело маховое колесо, выматывая из шахты плетушки с породой. [78/79]

В варницах по закрайкам чанов и корыт губою настывала соль, соль текла под ногой, соляные сосульки свисали с матиц и тележных осей, солью, как инеем, были засыпаны дороги от промыслов до соляных амбаров и далее на Каму до соляных барж.

Бабы где на лошадях, а где и ляжками по воде подтаскивали дрова к варницам.

По горным и лесным тропам сновали подростки с угольными коробами на загорбках.

Густой говор северян мешался с цветистой речью более скорых на язык волжан. Текла прожитая звенящей тоской, родная и русскому уху, песня азията. С далеких рыбацких станов ветер наносил стонущий напев "Дубинушки". Засевшие на мели плотогоны, наваливаясь на рычаги, ухали, как черти в болоте.

С реки лились бабы навизги да смех.

Тут – сопит пила, стучит топор, там – прикащик тычет в рыло, матюшит сплеча:

– Не ленись!.. Ходи борзо!..

Работа велась день и ночь

работали за хлеб да за воду.

Жили на своих жирах (станах) приуральские народцы. Строгановы и их не оставляли своими милостями: стноенным в ямах хлебишком подкармливали; рваной, отслужившей свой срок одежкой снабжали; отпускали в долг всякую хозяйственную мелочишку – иголку, шило, огниво, топор, прядь неводную. Все выловленное народами в реках и озерах купцы забирали за долги. Вся добытая птица и пушнина, мед и самоцветы шли в уплату долгов. Те, что были побогаче и поудалее, бежали с семьями за Камень, где попадали под двойную кабалу вогульских и татарских князьков. Слабосильные приходили на промысла

отрабатывать долги. На самых худых плательщиков Строгановы напускали своих людей с наказом: "Убей некрещеного или вышиби и отгони от курты, а жену и детей заberi себе, пусть работают на тебя, а ты заодно с ними – на меня". Да с тех же народов тайно от царя драли купцы ясак жареным, вареным и так, чем придется.

Копачи Вишерского рудника, проведая, что артельный кормщик, по научению прикащика Свирида, кладет им в кашу суслиное сало, возмутились и побросали работы.

К копачам пристали солевары двух близлежащих промыслов.

Разгневанный Свирид затравил собаками присланных к нему с рудника выборных людей и одному из них, Ивашке Редькину, плетью выхлестнул глаз.

Тогда Ивашка, помолившись пресвятой богородице и договорив себе товарищей, ночным делом приступил к прикащичьей избушке, железною высадил дверь и немилостивым боем [79/80] заставил прикащика сожрать дохлую мышь, а потом – слово за слово, словом по слову, распались и припомни многие прежние обиды, уходили они прикащика Свирида до смерти.

После того целой гурьбой бросились к варницам, сожгли два соляных сарая со всем нарядом; подрубив запоры, вдруг спустили пруд и затопили несколько рудников, но скоро сами устрашили своего злодейства и приутихли, а старики заковали в цепи двух своих главарей – Редькина и Рьжанко – и стали ждать, что будет.

Никита Строганов бросился к казакам.

– Беда!

Увидав перепуганного и полурядетого купца, Ярмак подал боевой клич:

– Ватарба!

Есаулы, срывая со стен оружие, вопрошали:

– Набег?

– Орда?

– Отколь?

– Хуже! – схватился за сердце и пал на лавку хозяин. – Хуже!.. Именья моего разорение, смута и душегубство... Ежели по твоему, атаман, слову не будут заворуи наказаны, то и впредь ждать мне от них еще больше того дурна. Людишки у меня из разных земель схожие, людишки беспокойные...

Ярмак набрал надежную сотню и поскакал на промысла.

Копачи и солевары, гремя сбитыми из листового железа сапогами, окружили казаков и застонали:

– Батюшка...

– Ярмак Тимофеевич...

– Помилосердствуй!

– Не покинь нас на погибель.

– Мы всеми оставлены и забыты.

– На тебя атаман, вся надежа!

– Принимай нас в свою ватагу...

Ярмак, дернулась косматая бровь Ярмака:

– Мне такие не надобны, я таких-то и своих в куль да в воду... С чего, злецы, выиграла в вас сила окаянная? Ребра вам расшатаю и все языки одним гвоздем на одну доску приколочу!

Пали на колени и сдернули с коротко стриженных голов берестяные колпаки и войлочные шляпчонки.

– Помилосердствуй, атаман!

– Бить нас и без тебя есть кому...

В мольбе тянулись изъязвленные соляным раствором руки; лица, запеченные в огненной работе, были жалостливы. Закованный по рукам и ногам Ивашка Редькин, – вытекший глаз его был заткнут окровавленной тряпицей, – звеня цепью, подскочил к атаману.

– Бей меня первого! Все одно пропадать! Постою за мир, пострадаю за правду Христову! [80/81]

Он, как бесноватый, скакал перед мордой коня и, захлебываясь, кричал какую-то невнятицу.

– Не суеръжничай, Ваньша, я все обскажу ладом, – бряцая ржавой цепью, поднялся с колен, сажень в груди, соляной повар Рыжанко. Он одернул прожженный искрами кожаный фартук, угрюмо глянул на казаков и степенно заговорил:– Мы не бунтовщики какие, мы... терпелу нашего не хватает! Прикашик Свирид деньги с нас собирал на церковное строение и те деньги с сыновьями своими пропивал... Мы не недоверки какие, крест на шею носим и душу свою поганить суслиным салом не дадим...

Голоса ропота:

– Не дадим, не дадим!

– За что нам терпеть?

– Не тут нам пуп резан.

– Мы народы тверские да суздальские...

– От долгов сбрили.

– В работы нас купец лукавством да насильством охолопил.

В толпе возмутителей шныряли зыряне, башкиры и татары. Вытолкнутый вперед Юлтама нерешительно заговорил:

– Хазяйн, бох ево знает, один день – бульно хорош, другой день – бульно палахой... Один день хлебишка давал, лаптишки давал, котел давал. Другой день приходил хазяйн – рыбка отбирал, птичка отбирал, шкурка отбирал, лошадку отбирал, все отбирал.

Рыжанко отсунул Юлтаму.

– Ты погоди, у нас тут свои заботы...

– Какой такой свой забот? Твой брюхо ашать хочет, мой брюхо ашать хочет – один забот...

Ярмак:

– В ваш уклад и правож мне дела нет.

Общий голос:

– Правду говорим!

– Не спорю.

Казаки, иные взирали скучая, иные – хмуро.

– Ая-яй-яй, палахой дела, помирать надо, – сокрушенно сказал Юлтама.

– Помирать не надо, бежать надо, – негромко отозвался кто-то из толпы татар.

И снова заговорил Рыжанко:

– Живем мы тут помилуй бог как! Сыты бываем щедротами хозяина четыре дня в году – на пасху, рождество, прощенное воскресенье да Дмитровскую субботу. Хлеб выдает такой, что он и хлебом не пахнет. Кормить не кормит, а все понуждает, чтоб соли нагребали перед прежним с прибылью. Работа душит, некогда глаз поднять, солнышка не видим. Я сам ворочаю, жена со мной ворочает, детишки ворочают, и самый малый – по шестому годку – приставлен лыки драть, корзины и короба плести. [81/82] Родитель мой, что насилу бродит и весь дряхл в забвении шатается, за единое грубое слово услан прикашиком в рудник на гнилую работу. За его хозяйской пашней да солью ходючи, одежонку всю передрали, волочимся в наготе и босоте. Рыбы на уху добыть некогда, и мы с весны с женами и мальми детьми кормимся травой. Иные на Русь сбежали, иные от болезней и с голоду примерли. За самую чутошную вину, а то и без вины, палач Абдулка батогамы нас, крещеных, лупит нещадно и каленым железом пытается, на шею цепь с чурбаном вешает да на головы железные рогульки набивает. Хозяин нас в уезд ушлет, а сам с прикашиками в наши избы для блудного дела ходит, жен и дочерей наших ворует и после над нами же надсмехается. Греха купец не боится, людей не совестится. Велит нам в церковь ходить во все праздники церковные и господские. Кто не придет, с того в первый раз берет по две гривны, в другой раз – грош, а кто не придет в третий раз, с того дерет алтын да приказывает палачу привезть того немолжая-невера в церковную ограду и, чтоб не забыл он дорогу к угодникам,

бить его палками. Чего мы в церковь пойдём? Поп службу ведёт не по-русски, а по-латынски: прислушиваешься-прислушиваешься, а так и уйдёшь, не поняв ни шиша... В хоромах, где иконы висят, курит хозяин табачище, а нас за табак кнутом бьёт и лбы калёным пятакoм клеймит. Да он же, по злой неволе, на спасов день и в благовещенье стоняет народ на свой двор и стрижет с нас волос, да подбавив в тот волос овечьей шерсти, валенки для прикащиков валяет, а мы, сироты...

– В ваш уклад и правож мне дела нет, – повторил Ярмак и нагайкой указал на Рьжанко и кривого Ивашку Редькина: – Этих заковать в железа и посадить в яму, хозяин в их головах волен. Остальных выпороть и не мешкая приставить к работам.

Из-под локтя атамана вывернулся палач Абдулка; круглая, ровно из красной меди литая, морда его жирно блестя.

– Пороть, бачка?

– Луи всех из головы в голову, луи принародно, чтоб, смотря на то, бабам и малым ребятам неповадно было смуту заводить.

Стон качнул толпу:

– Батюшка, бес нас попутал!

– Горе липовое...

– Живое мясо с нас рвут!

– Лучше бы мне и на свете не жить!

– Кроме бога, не у кого нам искать защиты!

– Ну, атаман, попомни... Отрыгнется тебе наша кровь ядом!

Кнутобойцы засучивали рукава, разбирали с возу розги.

– Ложись!..

Подходили, побелевшими губами шептали слова молитвы и, спустив портки, покорно ложились. [82/83]

Скупые охи, зубовный скрежет, мельканье плетей и розог над распростертыми телами, а тела были худющие, шкуры вытертые, шелудивые, в мокрых соляных язвах.

Кнутобойцы хлестали без злобы до первой крови, а там обезумели и принялись за дело с остервенением.

Абдулка крутился, как бес, и покрикивал:

– Серчай, крепчай!

Подручные отзывались:

– Сухо!

Хозяин послал за вином.

– Будя кровавить руки, – сказал через несколько дней казак Васька Струна и, набрав себе шайку, сбежал на Волгу. За Васькой поднялся гусак бурлацкий Трофим Репка.

– Истома злее смерти, – сказал он и, подговорив шайку, по последней воде сбежал на Волгу.

Пала зима глубока.

20

Жили казаки, крепки держали.

21

Сибирь, Сибирь, страна мехов, край великих рек, дорога народов...

В давнюю пору монгольский завоеватель Чингидий прислал в Сибирь своего князька Тайбугу, который собрал на Туре-реке городок Чингий – ныне Тюмень – и объясачил народы, бродившие в тамошних дебрях с незапамятных времен. После Тайбуги княжил сын его Ходжа, по Ходже – Мар, женатый на сестре казанского

царька Упака. Далее летопись повествует: Упак убил Мара, завладел Тюменью, и туземцы стали платить дань казанцам. Внук Мара Мамет убил Упака, разорил Тюмень и собрал на Иртыше городок Сибирь, ныне Тобольск; по городу и вся страна стала зваться Сибирью. После Мамета княжил его племянник Агаш, и сын Казий, и сыны Казия – Едигер и Бегбулат. Потом из степей Монголии пришел Кучум, Муртазалиев сын; он убил Едигера и Бегбулата и сам стал царем.

Русь ходила на Сибирь с мечом, рублем и крестом.

Новгородские ушкуйники, подговоренные купцами или по своей воле, лазили за Камень по старому печорскому пути. Да они ж с Мурманского берега на утлых суденшках морем проплывали в богатую мехами Мангазею, что лежала в полунощной [83/84] стране, меж низовьями Оби и Енисея, где досужие промысленники и разменивались с тамошними народцами товаром.

Воеводы московские, посланные Иваном III покорять Пермь, коей когда-то владели купцы новгородские, край пермский покорили и по своему почину прошли за Урал, в землю Югорскую, привели тамошних жителей в покорность и обложили ясаком.

Еще за сто лет до Ярмака князь Федор Курбский с товарищем своим Салтыком Травиным и с дружиною воевал вогулич на Тавде, громил тюменских татар да по рекам Туре и Тоболу выплыл на Иртыш, а с Иртыша на Обь, в Югорскую ж страну.

Об одном из таких походов в разрядной книге кратко записано:

"Послал великий князь московский Петра Федоровича Ушатого, да поддал ему детей боярских вологжан, а пошли до Пинежского волочку реками 2000 верст, да тут сождались с двиняны да с пинежаны да с важаны, а пошли с Ильина дня Колодою-рекою 150 верст. С Оленья броду на многие реки ходили и пришли в Печору-реку до Усташа-града. И тут воеводы сождались: князь Петр со князем Семеном Курбским да с Васильем Ивановичем Гавриловым, да тут осеновали и город зарубили. С Печоры-реки воеводы пошли на введенев день святые богородицы. А от Печоры воеводы шли до Камня две недели, и тут развелися воеводы: князь Петр да князь Семен через Камень щелью, а Камня в облаках не видать, а коли ветрено, ино облака раздирает, а длина его от моря до моря. И убил воеводы на Камени самоеди 50 человек, да взяли 2000 оленей. От Камени шли неделю до первого городка Ляпина. Всего по тем местам шли 4650 верст. Из Ляпина встретили с Одора на оленях югорских князей, а от Ляпина шли воеводы на оленях, а рать на собаках. Ляпин взяли и поймали еще тридцать три города, да взяли 1009 человек лучших людей, да 50 князей привели. Да Василий же Бражник взял 8 городов да 8 князей, а простых людей всех побил. И пришли к Москве, дал бог, здравы на велик день к государю".

Бывалые люди много чудесного рассказывали о Сибирской земле да привозили с собой достаточно мехов золота и всецветных камней. Выделяемые всюду ткани были плохи и дороги. Меха сибирские шли на рынки Европы и всего азиатского востока.

Исстари Москва подкармливалась сибирской пушниной, перепродавая ее на Запад.

Помимо купцов хаживали за Камень на высмотрры и царевы посылы.

Убитый Кучумом Едигер недолгое время платил русским дань, а по его и некоторые князцы туземные, радея о спокойствии своих земель, даывали Москве ясак.

Дальность и бездорожье мешали прочно связаться с краем.

Иван Грозный, отняв у татар Волгу, и на Сибирь уже глядел [84/85] как на свою вотчину, но пока не трогал ее и все силы устремлял на ливонцев и крымчаков. Да через Сибирь же мнил он завязать торговлю с неведомым Китаем и далекой Индией. В 1570 году Кучум писал царю московскому:

"Бог богат!

Вольный человек, Кучум-царь, слышали мы, что ты, великий князь и белый царь, силен и справедлив есть. Коли мы с тобой развокемся, то и все народы земель наших развокутся, а не учнем воевать – и они будут в мире. С нашим

отцом твой отец крепко помирились, и гости на обе стороны хаживали, потому что твоя земля близка. Люди наши в упокое были, и меж них лиха не было, и люди черные в упокое и добре жили. Ныне, при нашем и при твоём времени, люди черные не в упокое. По сию пору не посылал тебе грамоты, случая не было. Ныне похочешь мира – и мы помиримся, а хочешь воевать – и мы вожемся. Полон в поиманье держать, земле в том что? Посылаю посла и гостей, да гораздо помиримся, только захоти с нами миру. И ты одного из тех моих людей, кои у тебя в поиманье сидят, отпусти и с ним своего гонца нам пришли. С кем отец чей был в недружбе, с тем и сыну его в недружбе быть пригоже. А коли в дружбе бывал, ино в дружбе быти, кого отец обрел себе друга и брата, сыну с тем в недружбе быть ли? И ныне помиримся с тобой – братом старейшим. Коли захочешь миру, на борзе к нам гонца пришли. Молвя, с поклоном грамоту сию послал".

Замыслы Кучума были нехитры. Ему хотелось иметь сильного покровителя, чтоб именем его страшать своих врагов.

Иван Грозный большую рать двинуть в Сибирь не мог, а малую поопасался. В Тобольск был отправлен посол и дорога, – дорогой в старину звался сборщик дани. Кучум, уразумев, что от Москвы поддержки не дожидаться, казнил послов русского царя и объявил себя вольным человеком.

Силён, удал Иртыш водою, славен разливами.

Играя плесами, свиваясь в кольца, покойно льется Иртыш по степям киргизским; катит мутную волну через топи болот барабинских; гремит Иртыш и тащит по дну обкатанные камни в ущельях Алтая.

Текла вода

за водою текла жизнь.

Старые доживали век в беседах и молитве.

Молодые, скаля зубы и визжа, летели в битву.

Мудрый славился мудростью, богатый – богатством, бедный кормился от трудов своих.

Кости стариков тлели в земле; объятья молодых были неистовы, стоны сладостны и слезы горячи. Ночью, на осторожный [85/86] посвист любовника, как лисица, выбегала любовница, – свет звезды пламенел и струился в глазах любовников.

Туманы кочевали в долинах.

Челн рыбака скользил по реке, блистало весло, взметая брызги. Крапивная сеть волокла на желты пески трепещущую рыбью орду.

Скуластый сохарь трудился на поле, вспарывая чрево земли еловым суком.

По заросшему берегу озера, колебля метелки камыша, крался охотник, – легок летал глаз его, легка ступала нога, легка и умна взвивалась стрела.

В тайге, вокруг костров, на разостланных шкурах дремали звероловы.

Над вечерней синеющей степью лился древний плач пастушьего рога. Брели стада в тучах пыли, багровеющей в закатных лучах. Над кошменными юртами вился дым. В юртах родились и умирали, смеялись и плакали...

Богато жил Кучум.

В травных долинах, меж озер, нагуливались тьмучисленные отары баранты его, косяки коней, табуны возовых и верховых верблюдов. Бедняки кочевали вослед царских юрт и пасли стада его.

Разлив степей

зеленое приволье

да гоны звериные.

Сверкали, пронятые светом, синие потоки. Синий ветер качал-покачивал траву, гнал-плескал ковыльную волну. По разлужью, полному жарких цветов, скользила тень облака. Напрягая тетиву легкого лука, скакал Кучум по своим землям, – предсмертный стон зверя веселил его старческое сердце.

В женах хан плутал, как в фруктовом саду.

Старые жены с детьми жили все вместе на большом дворе, молодые жены

жили каждая в отдельном дворе, и юная Сузге жила против городка, за рекою, в своем урочище.

Дань подвластных народов отовсюду стекалась в царев котел.

Беднач давал царю кобылу с жеребенком, богач вез ему нечто от богатств своих, рыбак вел за лодкой на привязи саженого осетра, охотник метал на широк царев двор шкуры бобров карих и рыжих, лисиц черных и красных, соболей голубых и куниц прокрасных. Калмыки пригоняли в ясак трепетных степных коней. Таежные жители тащили мед и воск, медвежьи и серебристые, в черных кольцах, барсовые шкуры, что на базарах Самарканда и Тавриза, Багдада и Цареграда ценились особенно высоко. Из Кузнецкой волости мастера привозили медь зеленую и красную в котлах и тазах, удила конские, олово в блюдах и тарелах, а также слитками и в прутье. Пастушеские народы в уплату дани рвали с каждого барана по клоку шерсти, свозили [86/87] князькам кошмы и кожи и одеяла, сшитые из разноцветных лоскутьев лошадиных и коровьих шкур.

В уездах сидели подручные мурзы. У мурз в подчинении были князьки, у князьков – старшины и сотники.

Кучум-царь, а заодно с ним и все его послуги и угодники с женами, детьми и собаками, вознося хвалу аллаху, кормились меж рук народа своего.

Весною – по просухе – к низовьям Иртыша скорили караваны купцов алтайских, ногайских и бухарских.

Ветер вздымал косматые верблюжьи гривы.

Заунывная песнь и крики погонщиков, – лица их были запылены, как придорожные камни, – и резкие хлопки ременного кнута с навитьем из волоса концом.

– Ааа-аа-чг!..

По степи, дремлющей в зеленом полусне, далеко разносился трубный рев верблюдов, мерно плывущих под тюками товаров.

Базар заполнял город и через рукава тесных улочек выливался на степь.

Чего, чего тут только не было!

Матери всякие и кафтаны стеганые, сафьян и вытканые затейливыми рисунками холсты, кошмы с ввалянным узором, подоженные южным солнцем бухарские шелка и афганские ковры столь яростных расцветок, что от взгляда на них слеп глаз. Писаная посуда, пшено сарацинское, лекарственные снадобья в порошках и листьях, самоцветные камни и граненые рубины, янтарь, масла и сласти и китайский табак столь мелкой резки, что мельчиною своей он мог поспорить с рубленным человеческим волосом. Табуны прядущих аргамаков и диких карабаиров, толпы полоняников с колодками на шеях, да привозили купцы из глубин Азии юных дев в обмен на меха.

Наведывались на сибирские торжища промысленники и с русской стороны. Располагались они своим табором поближе к реке; мылись и отдыхали с дороги, потом на скорую руку мастерили лавчонки, распарывали кожаные мешки, раскрывали лубяные короба и по застланым рядом прилавкам раскидывали немудрые товары: топоры и огниво, сковороды и котлы, бубенцы и перстни, оловянные пуговицы и берестяные солонки, прядь неводную и веревку смоленую, чарки литые и выплавленные из голубого уральского серебра зеркальца стущенного и светлого блеска; чулки шерстяные и пояса гарусные, крашенные пряники и железца ножевые, сукна сермяжные и полотнишко реденькое и пригодное разве лишь на то, чтобы им дерьмо цедить.

Охотники и кочевники славились простодушием и жили в первобытном непорочии.

За иголку с ниткой купец выменивал кобылку с жеребенком, за латаные штаны и рубаху выбирал лучших бобров и песцов, железный наконечник для стрелы шел в одну цену с сободем. [87/88]

Шумел торг

ржали кони

ржал ветер

плясал Иртыш, седой брадою потрясая.

Зима. Пыхкали морозы. Навалило снегов выше избяных труб. Лежали снега пушисты и легки, как сияние. Морозная пыль остро сверкала в лунном луче.

Не красна ты, сидячая служба.

По праздникам, от великой скуки, сходились казаки со слобожанами в кулачном бою. Дрались казаки и друг с другом: то была у них любимая забава.

Старики докучали Ярмаку:

– В пьянствах люди бьются и режутся до смерти, крестов на шеях не носят, посты не блюдут, гуляют с слободскими девками и, вернувшись, не помыв рук, за хлеб хватаются да заодно с холопами своих атаманов и есаулов лают... Ты, Ярмак Тимофеевич, своим молчанием всему тому потакаешь... Васька Струна на Волгу сбежал, бурлак Репка на Волгу сбежал...

– Горячий камень им вослед!

– Дай дело людям, атаман, не то все разбредутся розно.

– По времени будет и дело.

– Осатанели от скуки, друг на друга с ножами кидаются. Поставил бы ты которых старателей доброты к соляному и рудничному промыслу.

– Черт их заставит работать, обленились, псы... Да и то сказать: потная работа нам не в обычай, и в работники к купцам мы не давались.

...В дальние урманы хаживал Ярмак с собаками. Тут примятый подтаявший снег – лежбище лося; там след зверя путался с подследком зверенка; белка скакала с ветки на ветку – с зеленых ресниц сосны опадали снежные хлопья; из-под куста прыскал зайчишка выторопень; хвостуха лисынька ловила тетерва в лет...

– Орел, бери!

Собаки тяв

лиска верть

и

хлынули!

– Бери-и-и-и!.. Га-га-га-га-га!.. Посчитайте в ней блох!

Катилась золотая лисынька, ныряла в распушистых снегах.

За нею, разбирая путаный след, в крутящемся облаке [88/89] снежной пыли, мелькали собаки. Передом на весь мах стлался собачий атаман Орелко. Стая, взлаивая с пристоном, уходила из глаз.

На раскатах под ногой охотника посвистывала лыжа, разлеталась на ветру черная борода.

В непролазные заломы уходила лиска, замывала лисынька след хвостом.

...По праздникам, после обедни, Строганов зазывал к себе на пирог атамана и есаулов. О чем бы ни велась беседа, а купец нет-нет да и закинет словцо про Сибирь:

– Богатеющий край!

– Сам там бывал?

– Бывать не бывал, а премного наслышан.

– Чужому языку как верить?

Никита навивал на кулак русую бороду, хитринка, словно ясный зайчик, играла в его сером глазу.

– Не с ветра вести ловлю.

– Говори.

– Вернулись на неделе прикащики – с товаришками моими в Мангазею гоняли, и каждый привез себе по десятку соболей, по два десятка недособлей, по полусотне вымок да пластин собольих, по два сорока пупков (ремни из шкурок с брюшка), белых и голубых песцов привезли, бобров привезли, заячины по вороху да по меховому одеялу, да по шубе, да немало всякого лоскута...

Дивный край!

Разгорались у гулебщиков зубы.

- Лихо!

- Да-а, кусок!

- Что ж, добыли - не у царя отняли.

- А тут?... Живем из кулака в рот.

Думали.

- Дорога-де трудна, - осторожно оговаривался Строганов. - Дичь, глушь, заломило дороги лесами.

- Мы в походы бегаем налегке: где зверь пройдет, там и казак пройдет.

- Заломило дороги лесами, а реки порожисты, много по рекам злых мест.

- И то нам не страшно, Никита Григорьевич, - на воде и с воды живем.

Ярмак думал и, усмехнувшись, невесело выговаривал:

- Пожили, попили - пора, якар мар, и бороды утирать.

- По мне, еще хоть сто годов живите, - раскидывал купец руки как бы для объятья. - Будем кормом кормить, доколе бог изволит, и род наш стоит.

- Время зовет.

Потягивая винцо, думали и мало-помалу утверждались в мыслях отправиться в сибирский поход. [89/90]

Строганов:

- Коль примыслите в Сибирь идти - со господом. Поход тот будет богу угоден, государю приятен и нам прибылен. Ведем торговлю с Бухарой и Хивой, а товаришки обвозим морем, Волгою, Камой - голый убыток. Царь давно пожаловал нам землишки зауральские, да руки не достают прибрать. Места там вовсе дикие, топор и коса туда не хаживали, зверя всякого изобильно, а люди живущие не храбры, и урядства воинского у них намале.

Простодушный Никита Пан брякнул:

- Нет ли у вас где такой высокой горы, чтоб мне с нее сразу всю Сибирь глазом поднять?

- Горы такой нет, - дивясь дурости бородатого вопрошала, любезно отвечал купец. - Горы нет, а пути в Сибирскую землю никому не заказаны.

Думали.

- Гайда, братья атаманы, наудалую! Раз туда слетаем и - завей горе веревочкой!

- Ты, Пан, горячку не пори.

Но Никита Пан хмельно орал:

- Не дойдем горами - доплывем речками, а будем мы татарву огнем жечь, острыми саблями сечь, да пушками пушить! С головнею до края света пройдем, возьмем Сибирь без свинца и пороху...

Строганов ласково:

- Чего ж без нужды нужду терпеть? Свинцу-пороху вам отпустим. Дам хоругвь святую да икону Миколы-можая, - он, батюшка, пособит вам в промысле над некрещеными.

А Ярмак говорит, усом шевелит:

- Ты, Никита Григорьевич, коли на то пойдет, людей нам давай. Икон у нас и своих много. Снаряду готовь, сухарей и всего такого... Будет в Сибири добыча - за все отплатим с присыпом.

- И людей дам предобрых, стрельцов гораздых и просужих, которые разговаривать на всякие языки знают.

- У нас языки не палки, и своими обойдемся.

Думали.

В хоромах было жарко натоплено. Чадили сальные свечи своего литья. Вьюга острым коготком царапалась в обмерзшие оконца. В тяжелых кубках пенилось цветное вино, вино горячило головы. Слушая гул голосов, купец смекал: "Сибирь - царю, а все, что в Сибири, - наше".

Казачья старшина валила к гулебщикам.

- Так и так, товариство...

- Сибирь...

- Золотое дно...

Казаки говорили разно:

- Что Сибирь! Нам и тут не дуется. [90/91]

- Сидеть вот надоело - это верно.

- Жить весело, да бить некого! Хо-хо...

- Плыдем!

- Время зовет. Плыдем!

- Куда там!.. В пень головой.

- Погонимся за крохой - без ломтя останемся.

- А тут чего высидим?

- Удалому горох хлебать, а лежню и пустых щей не видать.

- Богачество...

- Что казаку до богачества? И богатый и бедный лягут в могилу. Нам бы веселой жизни.

- Погулять охота.

- Правда твоя, Микишка.

- Плыть!..

- Плыть!

- Верстай, атаман, людей по сотням!

- Зима на дворе.

Ярмак:

- Любо мне слышать храбрые речи. Мыслью: поплыдем, когда время приспееет, а пока пошлем в Сибирь своих доглядчиков, чтоб не было нам промаху.

- Слать.

- Кого?

- Думайте.

Намеченных людей разбирали по всем статьям и наконец, сложившись разумом, выбрали четверых: Фоку Волкореза - казак рассудительный и бывалый; Зарубу - удал и вынослив: сотник Черкиз между дела вспомнил, как однажды на охоте Заруба целую ночь проспал на снегу и в кулак ни разу не дунул; избрали зудливого на язык Куземку Злычого, чтоб веселее было в дороге; за толмача шел полубраток, новокрещеный татарин Мулгай.

Ярмак зазвал подсыльщиков в атаманскую избу и обо всем подробно растолковал:

- Перелезете Каменный Пояс, и будет вам татарская орда. Разузнайте, много ль рек и какие под Уральским Камнем верховьем вяжутся? Приметьте воды копаные и родниковые. Где через реки перевозы и перелазы есть, коими нам до татар добраться бы? Какие на реках завороты и много ль урочищ? Сколько верст каждой реке протоку? Под какое царство какая река подтекла и к которому народу которая земля подошла? Велика ль держава Кучума, и много ли у него войска, и где раскинуты главные кочевья? Высмотрите, какие племена и народы вокруг Кучумовых владений бытуют: сильны и храбры ль, каким оружием владеют, отчего имеют пропитание и каким богам молятся?.. Выведайте и обо всем прочем, что к продолжению нашего пути способствовать будет.

Посылы переглянулись. [91/92]

- Послужим.

- Ты, Фока, пойдешь за хозяина - борода хороша, а вы, все другие, - его работники.

- Добро, атаман! Все разведем допряма.

- Ну, а попадетесь - будьте удалыми и в беде, лишнего не болтайте и славу казачью не роните.

- Бог нам защита да смекалка казацкая.

Разузнайщики нарядились торговцами и с караваном мелочного товара отправились в невиданную и неслыханную Сибирь.

В то же время зауральский князек Ярлаш, набрав татар, вотяков и вогул, внезапно набежал на пермские места, к Чердыне и к острожкам приступал; чего

успел – сжег, крещеных, кои под руку подвернулись, перебил, а иных в полон угнал. Казаки тот набег проморгали и за дальностью да бездорожьем не успели к бою, чтоб помочь. Строгановы к тому казаков и не понуждали, – пускай-де воевода чердынский своей силой отбивается: сводили купцы с воеводою старые счета.

23

Мартьян зашел к Ярмаку проститься.

– Ухожу, Ермолаюшко.

– Куда поднялся?

– В орду.

– Што так?

– Чую тягость старости своей и в силах умаленье. Хочу напоследок послужить богу и тем вымолить себе грехов прощение.

Прослышав о том, в атаманскую избу налезли казаки. Мартьян обратился к ним:

– Ухожу, братцы, прощайте! Устал я злодействовать, душа заколела от холода.

Карп Большой да Карп Меньшой сказали:

– Живем не по-христиански, а по своей воле. У нас в землянках помолено, а за некрещеными, кои ходят к нам, как хвост тянется всякая нечисть. Напустим анчуток, они нас ночью и душат.

Мартьян с грустью посмотрел на них.

– Купцы и холопы, цари и князья – все от корня Адамова. Русский и черкашенин, ордынец и лях – люди рода и племени Адамова. Мы же, отступя от заповедей и поддавшись бесовским прелестям, пустились в злодейства многие.

– Звери и те поедают друг друга, а чего бы им делить? Не одной ли они веры? – спросил Гуртовый.

– Зверь – тварь бессловесная, человек же создан по образу и подобию божию... Пойду. Буду учить ордынцев добро [92/93] понимать. – Он пал казакам в ноги. – Простите, братья, суди вас бог!

Ярмак поднял его и сказал:

– Твоя воля, батюшка Мартьян Данилыч, держать не смею. Иди, сей слово Христово да молись за нас, грешных.

И побрел Мартьян по лесам и болотам, услаждая одиночество пением псалмов.

Зыряне и остяки поклонялись огню, воде и болванам; язык их был темен и убог, но Мартьян скоро осмыслил его.

Шел путем-дорогою, шел лесами, горами, помогал жителям рубить дрова, тянуть невод, учил печь хлебы, проповедовал слово божье, ставил кресты и часовни да вырезывал из дерева иконы столь искусно, что дикарям они нравились больше, чем свои идолы.

Народы, подстрекаемые кудесниками, накидывались на проповедника с криками и угрозами, но он ласковым словом чудесно гасил их гнев да тем смирением своим побеждал мечтательную вражью силу и покорял самые упорные сердца.

Жители одного селения по уходе Мартьяна скоро забыли русского бога и снова сделали себе болвана. Когда Мартьян возвращался обратно рекою, они, смеясь, бежали по берегу и ему в досаду разрывали и поедали белок. С реки Мартьян благословлял их, говоря без ропота: "Не ведаете, чада, что творите", – да той кротостью многих опять обратил на путь истинной веры. В другом селении заспорил с Мартьяном кудесник Пама.

– Как верить тебе, с русской стороны пришедшему? – спросил Пама. – Вы искони угнетаєте наши народы тяжкой данью и насильями. От вас ли ждать нам истины и добра? Служим своим богам, изведенным долговременными благодеяниями. Променяем ли их на одного неведомого бога?

- Христианский бог сильнее всех ваших богов.
- Как тому верить?
- Испытаем силу богов огнем и водою.

В кипящий котел был насыпан песок. Мартьян, по преданью старины глубококой, выхватил из котла горсть песку и сказал:

- Меня бог укрепил твердостью. Теперь пусть и тебе твои боги помогут достать из котла хотя бы одну щепоть песку.

Посрамленный Пама ушел кормиться за Камень, к березовским осяткам.

Работал Мартьян и на Вишере-реке, на каменном заделье, где сбродники тесали камни на мельничные жернова. Его приняли за колдуна, стали над ним смеяться, дергать за волосы, плевать в чашку с тюрей. Мартьян, по сказанию церковного мракописца, скатил жернов в реку, сел на него и поплыл. С берега, уверовав в его святость, кричали: "Воротись!" - а он ответил: "Оставайтесь с богом". Каменщики стали поклоняться ручью, из которого старик пил воду.

Край разорялся и с русской и с сибирской стороны. Всюду [93/94] шныряли строгановские и иных купцов прикащики, торговцы с Вологды и Устюга. Где лаской, а где хитростью выманивали у жителей пушнину, самоцветные камни, мороженую рыбу и птицу. Воинственные вогулы опустошали улусы соседей. И в ту злую годину они большой силой нагрянули в зырянскую землю. Навстречу, в долбленной лодчонке, выплыл Мартьян, одетый в ризу. Диким вогулам лицо его показалось грозным, а сам он представился облаченным в пламя и мечущим огненные стрелы, - бежали вогулы и с той поры боялись русского старика, как могущественного волхва.

В голодный год ездил Мартьян в Устюг и пригнал оттуда хлебный обоз, да вскоре вступил в спор с лихоимщиком, воеводой пермским Василием Перепелицыным: за правду свою был бит на воеводском дворе палками и, похворав мало, получил блаженную кончину.

По следам Мартьяна пришли стрельцы, налетели шайки соловецких, макарьевских и иных монахов. Городили острожки, ставили монастыри, забирая лучшие пашни и луга, рыбные ловы и звериные гоны.

Казаки ждали - затоскует Мартьян и вернется, а потом, прослыша о его смерти, выбрали себе нового попа - Семена Чернышева. Ленивый на работу Семен был рад тому несказанно. Хотя круг церковный он править и не мог, да и молитвы целиком ни одной не знал, зато и тех немногих божественных слов, кои удержала его память, действие было столь велико, что дружина была в надежде. Ерощка Дунь говаривал про своего попа: "Он у нас в божественном не силен, зато такой заговор знает - враз любую болезнь сшибет".

Был еще в ватаге колдун Митя Косой. Поп с колдуном жили дружно: где не брала сила божья - призывали на подмогу чертей.

На Строгановых - грозная царева грамота.

Купцы всполошились.

- Ты называл, ты и выкуривай, - сказал Семен Аникиевич своему племяннику.

Никита Григорьевич кинулся к Ярмаку.

- Беда, атаман!

- Опять ты с бедой? Выкладывай.

Никита пересказал грамоту:

- ...Послали-де вы из своих острожков казаков воевать вотяков, и вогулич, и татар, и пельмские и сибирские места, всяко их задирали да тем задором с сибирским салтаном ссорили нас. А волских атаманов к себе призвав, воров-де наняли в свои остроги без нашего указа. А не вышлете-де из своих острогов волских казаков, будет положена на вас опала великая, а атаманов и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу землю выдали, велим перевешать...

Ярмак - к дружине. [94/95]

- Ватарба!

Гулебщики на дыбы.

- Не быть нам, казакам, под рукой воеводской!
- Не видать воеводам нашего покору, как ушей своих!
- Бежим, братцы!
- На Волгу, в отход!
- В Сибирь! В Сибирь!..

Ватага разверстана по сотням, полусотням и десяткам. Выбраны походные атаманы. Каждой сотне приданы знамена да иконы. Поддали Строгановы своих людей несколько, Мамыка был поставлен над ними атаманом.

Посылал Никита Григорьевич с казаками и своего старшего прикащика.

- Заведи, Петрой Петрович, книгу плавную. Дороги и битвы описывай. Руду и каменья, какие попадутся, - образцы прибирай. Зверя, птицу, рыбу и последнюю букашку описывай. Меха, кои казачишки добудут, скупай и ко мне присылай. За людьми нашими присматривай.

- Слушаюсь, батюшка...

Сделали суда подо всю рать. Загрузили суда порохом, свинцом, мукой да крупами, сухарями да солью, копченым мясом да рыбой сушеной.

Отвальный пир

день и ночь утиху нет.

После всего перед церковью пили прощальный ковш вина и с песнями двинулись к стругам.

Старый солевар Макарка, провожая слезящимся взглядом подбритые казачьи затылки, с завистью сказал:

- Гулевой народ, пришли с песней и ушли с песней... Эх, кабы мне да годков поменьше!

Казаки, крестясь, отплыли.

Народ, чтоб погладить гулебщикам дорожку, доканчивал на площади недопитое винцо...

Вдали замирал многой песни гул...

24

Плыли.

25

Суров Урал в кряжах лесов.

С тяжким стоном и ревом металась речки, сдавленные горами. Водопад висел над кипящей пучиной. В горах паслись племена мирных озер, в камень закованных. По утрам на тихой воде озера солнце прядало будто саженное серебряное веретено на [95/96] синем блюде. До облак взлетала широкогрудая, обросшая мхом скала. С утесов шумные свергались потоки...

Тайга темна

берега пусты

места немы.

Чусовая металась в камнях, как щука в сетке. По реке рубцом вилась струя толщиной в руку. Клубилась и шумела мутная вода на каменных переборах.

Плыли, претерпевая многие трудности и боря их, - не в обычае было от затей своих отступаться.

Жили дружной артелью: не мимо говорит пословица - "Нужда и кошку с собакой дружит".

Без конца дивовались и смеялись над строгановскими людьми. Сядут лапотники сообща щи варить - хлебово заодно, а свой кусок мяса каждый спускал в котел на своем лычке да, мало уварив, сам и съедал. Зипуны на них были столь толсты, что когда намокали от дождя, то под тяжестью их мужики не могли идти; портки и рубахи были столь крепкой дерюжины, что - повисни на сучке - и будешь висеть, пока высохнешь.

С Чусовой, по сказкам вожей, свернули в Серебрянку.

Подымались по Серебрянке с превеликим трудом, – речка та крута и резва, как огонь, стремит меж высоких гор. Тяжелые суда покинули, пошли на легких, но скоро и легким ходом не стало.

Тогда с берега на берег парусами принялись запруживать узкое русло, оттого вода в речке поднималась: так-то продвигались, пока было можно.

В верховьях Серебрянки срубили Кокуй-городок, порыли землянки и зазимовали.

Ударил зима, выиграла погодушка.

Мороз гулко рвал нагие скалы. В тихом сне стояли леса. Под вой вьюги крепко спалось медведю в берлоге.

Бездыханна лежала река.

Затомились гулебщики, в сырых норах сидючи, заедали их вши, гнула лихорадка.

– Эх-ха-ха!..

– Не стони, друг милый, а закручинишься – в первом бою тебя могилою придавит.

Скучали без баб да от безделья. Все помыслы – в бабу. И разговоры и сны полны бабами. Манила весна, бредили близкой наживою. Самые беспокойные, не считая вёрсты, налегке бегали в остяцкие и вогульские становища – забирали мясо медвежье, мясо лосино, рыбу вяленую и мороженую, забирали всю рухлядь, все пожитки, и собак сводили, и оленей угоняли, и все, что можно было увезти, увозили – до штанов и шуб, а вогулич и остяков оставляли в юртах нагих и голодных. [96/97]

О тех жестокостях скоро и по всей стране рассеялся слух злой.

– Бог скотину и ту приказал миловать, – говорил совестливый старик Осокин, но словам его никто не внимал.

Аламанщики похвалялись:

– Ухватил я ее за бок и тихо говорю: "Ты меня не бойся, я не такой, как Ванька за рекой". Визжит, што кобыленка, и зубами меня за руку – хап! А я, братцы, и крови своей не слышу, волоку ее, ровно собака кость, в угол и давай трепать-целовать...

– Скусно?

– Обхлебался.

– Невелика поди утеха, – ни губ, ни носа, целуешь будто лопату.

– По мне, хошь из корыта, да досыта.

– Хо-хо!

– Хе-хе!

– Одна старуха на зуб попалась... Развалили и все, чего там было, до зернышка подклевали.

– В поле и жук мясо... По сю пору поди-ка спасибо сказывает, ежели богу душу не отдала.

– Еще пойдете – и меня, сироту, возьмите, – тоненьким голоском попросил застолетний дед Елисей Кручина, и круглые ястребиные глаза его блеснули задором. – Не глядите, что лыс: старый конь борозды не испортит.

Хохот молодых прогремел ему в ответ.

– Прыткий!

– Да-а, на кашу да на баб он накатишься.

– Не смейтесь, сынки, старших и в орде почитают.

– Подыхать пора, чужой век заедаешь! – ради злой потехи кинул есаул Осташка Лаврентьев и, продышавшись от смеха, спросил: – Али, Кручинушка, бесово ребро выиграло?

– Грешен, молодцы, томит меня по ночам нечистый.

В метелях летели мутные дни, летели белокрылые ночи, налитые свистом ветра да растяжелой тоской...

Жили казаки, как волки, вполсыта, а толмачей и вожей вовсе не кормили, понуждая промышлять себе пропитание воровством да разбоем.

За зиму иные перемерли от болезней и голоду, иные пустились в разбег.

И снова грянула весна!

Сизые леса разбегались по скатам гор, терялись в низинах, полных белесого тумана. Речки с речками срастались, ярынь-вода играючи ломила берега. Сокол острым крылом чертил небесный простор. В горах гремел звериный рев. Под обстрелом солнечных лучей горел, дымился луг весенний... [97/98]

Поднялся муравей

поднялись и гулебшки.

В горных кряжах тяжел, угрюм лежал Тагил... Разбежавшись с гор, в пене и брызгах зарывался Тагил в Туру-реку.

Тура пьяно плутала по зеленым лугам, стремилась на восход солнца, вливалась в многоводный – по весне – Тобол.

Плыли.

Глаз русский был поражен диким и мрачным буйством сибирской природы.

Передом, на слуху ватаги бежал яртаульный (караульный) челн. За ним спускались в двух сотнях струги и стружки, насады и лодки и похожие на корыта однодеревые долбленные лодчонки. В хвосте сплывал огороженный жердями плот со скотом и съестным припасом, – под солнцем жирно лоснились туши свежетесанных бревен, в деревянном гнезде певуче скрипело правильное весло, кипела вода у отпорных плюх.

Первую весть о грозе подали бабы Япончина урочища.

Старуха Самурга, лицо которой было подобно кому засохшей грязи, на рассвете пошла на реку за водой и огласила пустынные берега суматошным криком:

– Алла, алла!

Жители аула высыпали на берег.

– Там люди, много чужих людей! – показала старуха на полдень.

По реке, крутятся в мутной струе, плыли свежие щепки, клочья гнилой соломы, птичьи перья и ветки зелени.

Сойдясь в круг, зашептали бабы.

Чуя недоброе, взлаивали собаки, взлаивали и умолкали, к чему-то прислушиваясь.

Ребятишки вылавливали из воды и с победными криками пожирали невиданные дотоле арбузные корки.

Степенные старики опирались на подоги, оглаживали крашенные бороды и негромко переговаривались:

– К нам плывут люди.

– Дальнеземельные.

– Беду за собой ведут.

– Купцы?

– Нет, то не купцы: купцам не время.

– Русь?

– Русь, больше и быть некому.

– Давно злой слух шел.

– Беда, старики!

– Русь...

– Война будет, горе будет. Субханалла!

И всю ночь чуткое ухо степняка ловило далекий перестук топоров, далекий лай псов и еле слышные в песенном разливе казачьи голоса. Да еще с самой высокой сосны, что росла на яру, было видно легкое зарево далеких костров. [98/99]

Урочище князца Япончи высилось на яру и с приступной – степной – стороны было обнесено насыпным валом и бревенчатой стеной. Тесно лепились саманные, облитые глиной мазанки. Убогие землянки были похожи на барсучьи норы. Жили в них лишь по зимам, с весны же все от стара до мала откочевывали в степь.

От дыма к дыму

от табуна к табуна

в рыжем облаке пыли мыкался посланный
Япанчою скорец с развевающимся на копье зеленом лоскутом.

- Алача!

С боков коня облетали, оббиваемые плетью, клочья шерсти.

- Тамаша... Тамаша...

По дорогам, тропам и целиною на арбах и верхами скакали татары,
направляя бег коней к урочищу.

Визги да крик:

- Арга булга... Алача-а-а-а!..

Подняли завалившуюся в одном месте крепостную стену, перерыли сбегавшую
к реке дорогу и, наполнив саадаки перенными стрелами, стали ждать врага.

Всю ночь по аулу дымились костры, под ножом резаки вячел баран, в
котлах варилось мясо.

Но лишь на востоке забелела заря и на седую от росы степь пролились
первые лучи солнца, из-за мыса, держась середины реки, выплыл осторожный,
яртаульный челн, а вскоре в блеске ясных доспехов показалась и вся дружина.

Скрипел кочеток под веслом, с весла вода стекала блистая...

На одних стругах люди еще спали, на других - уже бренчал бубен,
заливались на разные голоса камышовые дудки, в ловких руках поляка Яна
Зуболомича самодельная гармонь торопливо плела незатейливый наигрыш.

Со стругов - смех.

- Аман ба! (Здравствуй!)

С берега робко:

- Аман, Русь!

Кзаки:

- Шайтан голова!

С берега смелее:

- Сама шайтан... Тьфу, донгус!

Есаул Осташка Лаврентьев появился на носу атамановой каторги с вестовой
трубой и проиграл - та-та-та-та-а, та-та-та-а-а... - построиться в боевой
порядок.

На стругах - движение.

Князь Япанча, чтобы утратить казаков, выставил по бровке крутояра все
войско свое - и лучников, и копейщиков, и конников, сам же с абызами
(попами) вышел вперед, надел на большой палец правой руки широкое костяное
кольцо, [99/100] употреблявшееся для натягивания тетивы, поставил перед
собой большой лук, уперев один рог его в землю, и пустил первую стрелу.

Струги греблись к берегу, со стругов гайкали:

- Гей, волчья сыть!

- Пади!

- Абыз, свинье ухо обгрыз!

- Подбери полы кафтана, не то сташу!

- Подавай нам вашего князя на мясо!

Кзаки - кто наводил на берег пушку, раздувая дымящийся фитиль, кто,
опираясь на пищаль и раскуривая трубку, стоял по борту в ожидании команды.

Со шмелиным жужжанием густо летели, подобны косому дождю, остро
точные стрелы.

Абыз запел:

- Аллах вар... Аллах сахих...

Свирепый клич татар:

- Ал-ла-а!..

А встречу:

- Бей с нагалу!

Кзаки подняли пищали

залп.

С обрыва свалилось несколько, - взметывая рыжую пыль, устремились по
откосу и шлепнулись внизу, у самой воды.

Стон:

- Ал-ла!..

В упор:

- Огонь!

Залп.

Орда взвыла и шарахнулась прочь от дышащих огнем и смертью, не виданных дотоле пушканов.

На арбах и верхами ринулась орда в степь, гоня перед собой баранту, коней и верблюдов. Поспешала и старуха Самурга, волоча за собой упиравшегося старого козла с ободранным боком.

Свист и гайк победителей неслись орде вослед.

Поп Семен из ведерка покропил свяченой водой берег, ватажники полезли на яр.

Урочище было разграблено и сожжено.

Пожили тут сколько хотелось, погреблись дальше.

Татары караулили на многих местах, где берега были высоки, а река узка, но вреда причинить не умели.

Казачьи, где не брали с бою, там брали хитростью: так, они наплели из таловых прутьев легких щитов, в которые и утыкались все стрелы, пускаемые с берега.

В одном злом месте, замыслив похитить крещеных, тамцы (там живущие) открыли плотину, - заржала река, хлынула волна в сажень, но гулебщики вовремя поставили струги гусем и укрылись за плотом. С плоту волною смыло муку, смыло кое-какие съестные припасы и сухари подмочило. [100/101]

Жители Маитмасова городка в самом горле реки вбили в дно - вершка на три ниже уровня воды - поперечный ряд кольев, обращенных острием вверх. Обычно берестяные лодки зауральских народцев пропарывали на кольца днища или опрокидывались, но казаки проплыли невредимы, расколотили мурзу Маитмаса и городок его земляной разгребли.

В другом месте узком вогулы преградили реку цепями, казаки и тут проплыли здраво да набили вогулов кучу. Те одеты были в лохмотья, казалось - поживы с мертвых мало, но и тут русцы маху не дали: убитых ободрали да каждому ноги у шиколоток вязали лыком и, навздевав мертвых по десятку и более на бревно, пускали плыть по воде, на страх внизу живущим. Поделали травяные чучела, обрядили их в те вогульские лохмотья, рассажали по запасным лодкам и под ночь пустили вниз по воде. В предрассветной мгле люди Бабасанова урочища, цепенея от страха, увидели караван бревен с торчащими босьми ногами и много лодок с людьми, что молча проплывали вниз, сбивая тех воинов с толку.

Из Туры выгреблись в Тобол.

Тюмень пограбили и сожгли да по жадности натаскали тут столько добычи, что под тяжестью ее стали тонуть струги. Оставили себе самое ценное, остальное - чего в землю зарыли, чего топорами потяпали.

Осадили и прогнали князца Альшая.

Вогульские жилища князца Кошуги разграбили и сожгли.

Чандырский городок разграбили и сожгли, забрали тут много меда, сняли с поля недозревший хлеб - тем и кормились, а свои заплесневелые сухари ставили собакам и рыбе.

Сбили с урочища князца Каскара и множество тут басурман погубили: лежало при урочище озерко тридцать на сорок саженей, в него были пометаны битые, а через несколько дней мертвяки всплыли столь густо, что под ними и воды не было видно. Оставили в живых только одного и отпустили - да расскажет о казачьей силе и жесточи.

По Туре и Тоболу волости Калымскую, Ворляковскую и многие улусы приречные пограбили и сожгли.

Мирные кочевники и рыбаки в страхе жилища свои покидали, с женами и детьми удалялись в недолазные места.

Ночь по тайге да лютая тишина.

Лишь сонное журчанье воды на камнях колеблет тишину. По другому берегу в черной завеси кустов сплывали, тревожно окликая друг друга, утка с селезнем. Застонет собака во сне, гукнет филин, забредит казак Доном-Волгою, и опять все стихнет. [101/102]

Казачи спали в лодках и на берегу. У костра спал караульный Бусыга, дремал караульный Игренька, а третий – Якунька Дедюхин, боря дремоту, рассказывал адову сказку:

– ...идет наш удалец по каленым камням – тут смола кипит, там червь шипит. Над пеклом грехи людские вьются, адов пламень раздувают. Братоубийца падает на острие меча, меч под ним свертывается. Черти возят воду на опойцах, быки жуют бороду жадному хозяину. Сидит на цепи двуголовый монах – одна голова смеется, другая – плачет. Скучно стало удалому, на такое гляючи. Тянул он вместо горилки ковш горячей смолы, схватил головяшку и давай чертей крушить! Черти в страхе кинулись от него какой куда и потоптали многих грешников. Нарвал казак хвостов у чертей, навязал хвосты веревкою, по той веревке и вылез из преисподни, да еще сколько грешных душ, что за него понацеплялись, за собой выволок...

Ломая тишину

затрещали кусты

из кустов трепетный голос:

– Братцы...

– Кто таков? – испуганно окликнул Игренька и выхватил саблю; в ответе огня она так ярко пересверкнула, что Бусыга проснулся и – за дубину:

– Свят, свят...

И тогда уже все трое спросили хором:

– Кто?

– Я.

– Да кто ты?

– Заруба.

– Врешь?

– Пра!

Из-за кустов вышел лохматый, ободранный, в котором караульные признали товарища, но:

– А ну, перекрестись!

Заруба перекрестился.

– Читай молитву!

– Богородица, дева, радуйся... Братцы!

– Ты один?

– Один.

– Где растерял товарищей?

Заруба опустил ся около огня и вытянул босые, в кровь ободранные ноги. Лохмотья еле прикрывали его наготу. На месте начисто срезанных ушей чернели дыры.

Стан проснулся, – спали по привычке вполглаза, – люди сошлись к костру слушать вернувшегося из Сибири подсыльщика.

Вот что, можно думать, рассказал Заруба:

– Из Орла-городка путем-дорогою добрались мы до Туринского волоку, и отсюда повела нас за собой первая сибирская река Тура. Ходу туда летним путем с большими вьюками семь [102/103] дней, а зимним путем четыре дня. Живут на Туре вогуличи и татаровья, говорят своим вогульским и татарским языком. Дорога такая, хоть медведь ногу ломи. Об острое каменьё наши верблюды ободрали пятки до мослов. Покинули верблюдов, дождались весны, дальше поплыли на стружках. В Туру падает салда вода – Тагил-река и

Ница-река. Земли сибирские и земли русские, как вы и сами видали, разгорожены горами, достигающими иными вершинами до облаков. На горах растет деревье различное, в лесах имеет притон зверье различное – иные потребны на съедение человекам, иные – на украшение и одяние, сладкопесневые птицы витают, скотопитательные травы и цветы травные красуются. С тех гор многие реки истекают: иные на русскую сторону, иные в Сибирскую землю. Воды в горных речках сладчайшие, и рыбы довольно: в протоках по весне столько набивается рыбы, что по ней можно идти и ехать, как по мосту. Дебри плодovitы на жатву и травные удоля. Тура вливается в Тобол-реку, Тобол – в Иртыш. Тяжелым ходом идти туда от Камня три недели, а скорым делом – десять дней. Иртыш течет в Обь. Обь – неведомо откуда и куда, столь она пространна. По рекам жительствоуют татары, киргизы, мугалы, вогулы, пегая острянкая и самоедская орда да многие иные языки, но все неверны... Пльвем, торгуем и к житьишку тамошнему остренько присматриваемся... Татары закон Магометов держат, киргиз-кайсаки и мугалы живут по преданьям своих отцов. Пегая орда и вогуличи закона не имеют, болванам поклоняются, гадают по лету и пению птиц и волшебной хитростью правят домами своими. В одном городке довелось нам видеть моление деревянному болвану. Зарезали они перед тем болваном большую черную собаку, потом главный шайтанщик уткнул себе нож в брюхо, наточил из раны пригоршню крови, испил ее да вымазал своей кровью морду болвану и после того стал в бубен бить и плясать и всяко дьявола тешить, а по его и все начали скакать и прыгать, как бесы перед светлой заутреней... Народ робкий, от пустяка трясется: бури боится, грома и молнии боится, промаха стрелы боится, треснет сучок под ногой – и того боится. Сыроядцы, хлеба не знают, сырую рыбу жрут, траву и коренье болотное жрут, всяку зверинину жрут и скверну кровь зверью пьют, как воду. В юртах у них такая вонь, что крещеному и дух не перевести. Какой у них умирает – в землю не зарывают: мерзла, крепка земля. Одежду имеют иные из рыбьих шкур, иные – из звериных и оленьих. Паруса ньют из рыбьих шкур. Ездят на псах и на оленях. Без собаки и топора никуда не ходят. По болотам и зиму и лето бегают на коротких широких лыжах с шестом: прососы в болотах, будь мороз-размороз, не замерзают. Торгуем, о тамошнем бытѣе выспрашиваем, сами на стружке пльвем да за собой два стружка с рухлядью (мехами) ведем... Река Суета – вода в ней черна живет: какое в нее дерево упадет, то скоро и каменеет. Птица в тех местах не поет... На черном Яру, [103/104] на Оби, стоит капище вещей птицы Таукси. Каждую весну сюда наезжает пегая орда с дарами. Шайтанщик, что живет при птице, принимает дары и открывает народам их будущее. Богов у них много, на каждом стану свой бог, но боги те не страшны, вот нечисть страшна. Сколько мы по тем местам плутали, того и не рассказать! В одном месте заночевали на грязном берегу. За ночь вода убьла, а грязь была столь липуча, что струги присосало намертво, ни рычагами, ни силою своей не оторвать. Поохали, поматюшились... И жалко стружков, а пришлось бросить. Связали плот, поплыли дальше. Лес мелкой, по лесу болото, по болоту комариная тундра – места сухого мало. Места скушные – ни елани, ни поля. Народ немьслимо пересчитать, живут не на одном месте, а кочуют. Гоняет их ветер, как песок, с места на место. Ростом невелики, плосковидны, носы малы, но резвы вельми и стрельцы скоры и горазды. Рыбы невпробор – ловят прутьяными мордами, жердяными запорами и костяными крючками. Дикого оленя ловят деревянным щитом да раскидывают петли по деревьям на тропах, ведущих к водопою и на места кормежек. И на иного копытного зверя раскидывают петли и роют ямы, птицу и зайца кроют крапивной сеткой, на лису и песца, на россомаху и горностая ставят плашки, кулѣмы и пасти. Собак держат помногу, и собаки у них столь свирепы, что когда случается голод, то друг друга поедают, а которые и хозяева своих собак опасаются. Вогулы – кузнецы добрые. Делают ножи, топоры, копы и мечи: себе и на сторону променивают. Бой лучной и копейный. Ловят бобра, соболя, лисицу, выдру, белку, горностая. С зверями и птицами иные разговаривать знают. Есть у них лекари: у которого человека внутри

нездорово, они брюхо режут да из нутра болезни вынимают и оттого человек иногда умирает, иногда здоров бывает. Родятся по тем местам добрые соболи – зверь предивный и многоплодный, а красота зверя приходит вместе со снегом да с морозом. Как снег сойдет – шубка на соболе красоту свою теряет... Татары – народ смысленный, ремесла разумеют: плотники, гончары, суконщики, кузнецы, и землю пашут, но мало. Зверя бьют, по рекам бобров бьют, хмель дерут, рыбу ловят. Хлеб сушат в шалашах, – прокопченное дымом зерно долго не портится. Молотят хлеб зимою, расчистя на реке на льду круг, а мелют на ручных мельницах, водяные построить не смыслят. По татарским местам степи дивны и леса крепки... Стали мы подумывать и на русскую сторону возвращаться, стали про дороги выспрашивать. Наехали на семь татарских станов, и на каждом стану по двадцать и более котлов насчитали. Был у них праздник большой – на конях скачут, в зурны играют, и борцы по кругу ходят, друг друга за кушаки ухватив. Стали нас угощать бараниной и пьяной аракой. "Хороши у вас кони, – говорит Фока Волкорез, – а у нас на Дону лучше". Осердился старшина татарский, однако – ничего, молчит. "Сильны и ловки у вас борцы, – говорит [104/105] Куземка Злычой, – а у нас на Волге сильнее". – "Того быть не может, – ускоряет старшина татарский. – У нас такой силач есть: кулаком лошадь с ног валит". Раззадорился во хмелю Фока и кричит: "Давай своего борца! Я его на один кулак подниму, а другим ударю – и мокро будет". Выставили они своего силача, не так чтоб хорошего росту, но крепонек и жиловат. Схватился с ним Фока, прошел по кругу раз, прошел два, да, изловчившись, и шмякнул его об землю, – на том шкура лопнула, изо рта, из носу кровь хлынула... Нам бы тут схватиться да утекать, а Фока еще араки хлебнул и почал князей сибирских всяко лаять да атаманов своих донских выхвалять. Мы-де скоро придем и турнем вас из здешних мест... Татары стребли нас, отвели в аул и поставили перед своим мурзой Карачею. Карача, обо всем татар дельно расспросив, велел нас пытать. "Сказывайте-де, что вы за люди есть?" Фоке бороду по клоку рвут – молчит. Мулгаю глаза выковыривают – молчит. Мне уши режут – молчу. А Куземка, чтоб ему ни на том, ни на этом свете добра не видать, с огненной пытки о всех наших тайностях поведал; поволокли нас с теми песнями к сибирскому султану Кучуму в город Искер... С пути, бог дал, удалось мне уйти здоровым. Да не только татар, – и собак ихних перехитрил: закрестил вокруг себя место в болоте, кругом меня по болоту рыщут, а усов моих не видят, – весь в воде лежу, один нос наружу торчит, лопухом прикрыт... Зима доспела, а я, сирота, босоплясом бегу степями, бегу болотами да об лес всю морду ободрал. Бегу голодный. Палкой подбил сороку и съел ее сырую, мало общипав. Разрыв нору, крота задавил и, ободрав, съел. Потом из вогульской ловушки лису вынул, разорвал и съел... Жил у мугалов, жил у вогулов... Сколько горя хлебнул – того мне за ночь не пересказать, а вам не переслушать.

Заруба сразу съел котел каши и, повалившись в стружок, захрапел. Проспал он целую неделю: откроет глаза да, свеся голову за борт, напьется и опять в сон покатится...

28

Плыли, воюя и разбивая сибирцев.

29

Мчал-крутил Иртыш рыжую волну.

Развал степей, прошитых тихоструйными речками, течение ковья, мерцанье синих глаз воды. На кургане, озирая сонным оком дали, дремал высеченный вечностью седой орел. [105/106]

В город прибежал лазутчик Чумшай. Он пал перед входом в цареву юрту и воскликнул:

– Велик бог!

Кучум велел позвать его.

Чумшай, как собака, на брюхе вполз в юрту и, не смея поднять засоренных песком гноящихся глаз, замер.

– Откуда ты?

– С Тобола, хан.

– Какие вести?

– Худые.

В большой, обшитой по верху зеленым шелком юрте Кучума собрались князья и мурзы, старшины родов и военачальники.

Чумшай, умягчая свой скрипучий голос почтительными интонациями, заговорил:

– Немалое время прожил я у казаков, смотрел ихние обычаи, слушал речи и ел с ними из одного котла...

– Дед мой, – вставил слово мурза Бейтерек Чемлемиш, – дед мой, да будет милость аллаха над ним, говаривал: "Хорошая лошадь, храбрый зверь и храбрый народ умеренны в еде. Нечего бояться того, кто больше всего думает о брюхе". Скажи, Чумшай, много ль едят казаки?

– Едят помногу, а когда в пище нехваток, то и малым довольствуются без ропота. Горькое вино, что они пьют целыми ковшами, кажется им негорьким, и они настаивают его на волчиной желчи. Сильны и – ух! – зверострашны. Все с бородами. У одного атамана борода столь велика, что конец ее, чтоб не путал ветер, он затыкает за кушак. Голоса такие, – когда ругаться или смеяться начнут, листья с дерев осыпаются, и зверь от страху забивается в нору.

– Какова у них ратная сбруя?

– Топоры на длинных ратовищах и кистени, что и медвежью голову разбивают, как орех. Ножи и сабли. А у многих железные пушканы, из коих огонь и дым и смерть с гулом вылетают. Ни молитвою, ни заговором, ни пансырем невозможно защититься от тех пушканов.

– Простые они люди или знатные? Какой веры? И какие князья их ведут? – опять спросил один из военачальников.

– Ведет их атаман Ярмак, в железа закован, да атаман Мамыка – столь силен, что с маху втыкает весло в песок на всю лопатку, да иные атаманы, и у каждого под рукой шайка. А молятся своим русским богам, которых у них много. И над богами есть атаман, зовомый Николай-угодником, тоже с бородой, ликом темен и взглядом грозен. Его казаки чтут выше всех своих богов.

Кучум закрыл глаза и тихо сказал:

– Напустили на меня казаков Строгановы купцы. Мстят мне свои обиды... Уйди, Чумшай. [106/107]

Лазутчик, кланяясь, упятился вон.

Бабасан-мурза, лицо которого было похоже на стоптанное конское копыто, охая поведал о пришествии казаков под Тюмень, к его, Бабасанову, урочищу и о битве с ними.

Япанча и иные туринские и притобольские князцы и мурзы, спугнутые громом пушканов со своих становищ, наперебой пустились рассказывать про свирепость пришельцев и неотразимую силу их оружия да стали просить у хана защиты.

Кучум молчал

и военачальники молчали

мысли всех окоротились.

В глубине юрты сидел на корточках Маметкул, племянник хана. В полутьме мерцали его быстрые кошачьи глаза, и в них угадывалась, как бледная тень, насмешка. Он всех врагов заранее считал своей добычей, нападал на них и побивал, не спрашивая, какому они богу молятся и сколь они сильны. С волчьей сотней улан он летывал за Урал, победным ревом оглашал склонную к вероломству тундру, замирал и приводил в покорность воинственные племена

кочевников, бытующих в киргизских степях.

Бейтерек Чемлемиш первый подал голос:

– Русские вторглись в нашу страну и мечи свои напоили кровью сибирцев, а мы сидим. Русское горло проглотит всю нашу землю, а мы сидим, и страх сковал наши языки. Русские плывут, они уже недалече, а мы сидим и руки наши пусты... Говорите же, старики! Мы, молодые, послушаем вас.

– Говорите, старики, – страстно воскликнул Маметкул. – Да будут речи ваши мужественны и да потекут они, как воды реки, в одну сторону!

– Русское горло проглотит нашу землю, – повторил Бабасан. – Они разроют могилы отцов наших, и кости мертвых растаскают собаки.

– Зима близка... Верблюды валяются в золе... Зима близка, старики. Не пустим казаков в город, и они померзнут на реке и в степи.

– Чем удержишь? – нараспев сказал князек Каскар. – Они перебили лучших людей моего урочища. Храбрые лежат без дыхания, и сильные изнемогли. С горя во мне самом душа еле держится.

Мурза Кутугай, пряча в жиденькие усы усмешку, ответил Каскару, своему давнишнему недругу:

– Нет обычая умирать с умершими, есть обычай хоронить умерших... Если ты умрешь – земля останется землей и место местом.

– Да, да, – схватился Каскар за клинок. – Чьи жилища далеки от русской руки, тому можно храбриться. [107/108]

– Уймись! – остановил Кучум молочных братьев, Каскара и Кутугая. – Псы одного аула походя грызутся друг с другом, но когда со степи подходит волк, псы собираются все заодно и бросаются на волка. Мы все – люди одного корня и одной веры. Пророк, да будет благословенна пыль следов его, учил: молоко идет так же далеко, как и кровь.

Кутугай замолчал, а его неприятель, теребя бороду негнушимися пальцами – так много на них было навздвано перстней, как бы про себя бормотал:

– Да, да... Редко вижу жен и детей, гоняя в разъездах по твоим, хан, делам. Правый рукав мой поистерся, заменяя подушку. А другие, которых считаешь верными, зажирили, сидя у твоего котла, зажирили так, что у них ушей не видать, и собаки ихние зажирили – хвосты торчмя стоят.

Бейтерек Чемлемиш сказал:

– За Иртышом не укроемся и Чувашиевой горой, как щитом, не защитим себя. Укрепим молитвою твердость сердец наших, выйдем на Тобол и встретим казаков в месте узком, у Лосинога броду.

– Война! – вскочил Маметкул и сорвал с себя тибетейку, обнажив выбритую полумесяцем, похожую на эфес шашки, острую голову. – Ни одного русского не выпущу из Сибири! Война!

Кучум движением руки остановил племянника и обратился ко всем:

– О храбрые моего племени, думайте не о себе, а о бедствии всего народа. Тяжела для нас будет война. Близко время охоты и рыбной ловли. Охотники разбрелись по тайге, и оленные люди кочуют по берегу далекого моря. Как созову их под свою руку?... Табаринцы тайно от меня возят ясак киргиз-кайсакам и будут плясать, видя мою беду. Чем образумлю лукавых?... Вогульские князья своевольны, как жеребцы из дикого табуна. На каждого воина, что они приведут в подмогу, и на жену воина, и на детей, и на всю родню воина, и на каждую собаку, что прибежит с ними, князья будут просить подарок. Где возьму столько богатства?... Низовские тунгусы и жители болот не ведают ни сабельного, ни копейного боя. На них ли возложу надежду свею?..

– Дадим казакам на щит нечто от богатств своих, и они уйдут, – сказал столетний мурза Ерикбай.

Мысль его иным пришло и по душе, но старику никто не ответил: воинственные степняки почитали за благо брать на щит и за постыдное – давать.

Кучум:

- Видал во сне - на песчаном острове гулял волк, из Иртыша выплыла собака и загрызла волка. Русь загрызет мою Сибирь. Яростью сверкающий меч победителя выхлестнет дыхание из народа моего. Головы моих воинов через губу ремнем будут приторочены к седлам казачьим. Ветер разнесет золу наших становищ. Тяжела, тяжела для нас будет война. [108/109]

Тогда поднялся Канцелей, ученейший ахун и советник царева двора, и в волнении заговорил:

- Дед твой Садык, да озарит аллах могилу его, вывел весь народ наш из Монголии. Отец Муртаза пришел в эту страну неверия и заблуждения, где не было ни одного человека, произносящего слова великого исповедания мусульманского. Ты, Кучум, да течет благополучие в потомство твое, достойный внук мудрого деда и храбрый сын славного отца. Блеск твоих мечей осветил этот край уныния и дикости. Как ветер раскатывает по голой земле сухой овечий помет, так и ты раскатил по степи головы врагов. Ручьями мечей лицо пустыни ты обратил в цветущий сад. От тундры до предгорий Алтая и от тайги до Камня народы ползут к тебе в пыли дорог и протягивают уши к твоим словам. Ты - тень бога на земле, а мы - тень тени твоей.

Гул одобрения...

Храбрые и робкие, умные и недоумки оценили красноречие ахуна, всю жизнь просидевшего над раскрытой святой книгой.

Кучум же сказал в скорби:

- Я лягу в могилу, ты, Канцелей, и все вы, отважные моего племени, ляжете в могилу, и жены наши лягут под других мужей, и на конях наших будут скакать русские бородачи.

Все молчали.

Канцелей сел против хана и, глядя ему в глаза, вновь заговорил:

- Тебе ль страшиться врага?.. Мечи твои легче орлов. Славой своей ты перешагнул за пределы подвластных владений. Дикие югрские племена, приобские остяки, кондинские и табаринские вогулы, ишимские и барабинские кочевники, сургутские самоеды и таежные охотники, тюменские и пельмские князцы платят тебе ясак и опускают перед тобой крыло покорности. Потомки свергнутых княжеских родов, и порубежные русские села, и далекие киргиз-кайсацкие аулы страшатся меча твоего и аркана. Помни слова пророка: "Под сенью мечей сияет рай". Аллах осыпает благодеяниями того, кого захочет. Скажи одно слово - и скорцы обегут страну, призывая молодых и сильных...

- Война! - опять выкрикнул Маметкул. - Джамагат! Лепешки, что напекут нам жены на дорогу, лепешки не успеют простыть за пазухой у моих улан, как мы доскачем до русских, и - горе им! Джамагат! Не успеет народиться молодой месяц, как я вернусь и брошу к твоим, хан, ногам кожаный мешок с головами казачьих атаманов...

Бейтерек Чемлемиш поддержал Маметкула:

- По всем дорогам и потаенным тропам расставим несводные караулы, чтоб не только казак, но и птица с той стороны не пролетела. Узрев нашу твердость и убоясь многосильства, русские повернут назад, и мы будем колоть их пиками в курдюки. [109/110]

Воспрянул и Япанча:

- Они разгребли мой земляной городок, отняли богатства, побили много людей, но сила и храбрость моя остались при мне, да со мною же три сотни самых удалых, и мы готовы защищаться и нападать!

- Много ли у нас оружия, Гасан? - спросил Кучум сидевшего рядом с ним старшего оружейника.

- Оружия у меня наготовлено столько, сколько в твоём войске храбрых.

- Где наши коренные табуны коней?

- Они близко.

Кучум двинул седой бровью и гневно засопел:

- Положимся на помощь бога... Пусть будет война. Извлекая клинки, военачальники закричали:

- Война!
- Война!
- Велик бог!

Молодые, не дослушав стариков, выметнулись из юрты хана и, вскочив на коней, поскакали в степь, к табунам.

Кучум же оделил щедрой милостыней базарных нищих и на легкой лодичке поплыл за Иртыш к Сузге, где всю ночь по мере сил и предавался любовным утехам.

Сузге, Сузге... Под покровами ее одежд, по слову мудреца, играли все сады рая.

По крутояристу берегу лепились врытые в землю закопченные кузницы. Около них костром были составлены приготовленные для грубых поделок плахи твердых пород черного и красного дерева, валялись куски комового и тянутого железа, полосы неотделанной стали, доставляемой в Сибирь из Лагора и Кутша.

Близ кузниц приткнулись и оружейные мастерские. Затянутые скобленным рыбьим пузырем оконца были похожи на бельма. С низких запаутиненных потолков свисали хлопья жирной сажи. По стенам были развешаны связки распиленных оленьих и турьих рогов, из которых вытачивались наконечники стрел и копий.

Проворная рука мастера, склонившегося над низким столиком, кабаньей щетиной и сырой рыбьей костью наводила рисунок на воск, облепляющий клинок. В медных площадках, куря зеленым смрадом, кипела смешанная с прогорклым маслом древесная смола, употребляемая на протравку рисунка. Скобель выбирал с древка кудрявую стружку, сопела пила, потюкивал легкий деревянный молоточек, вколачивая и наколачивая на клинок золотые и серебряные украшения.

Старший оружейник Гасан, будучи в молодости невольником, изъездил с купеческими караванами весь азиатский восток [110/111] и до тонкости познал искусство выделки холодного оружия. Азия еще не знала порошу и огненного боя. Оружейники все свое умение и старание обращали на выделку клинков и дали миру образцы, не превзойденные до нашего времени.

Гасан бывал в мастерских Самарканда и Герата, Керманаха и Сираха, Испагани и Хоросана, знавал работы лучших мастеров Дамаска и Ахлата.

Куску железа Гасан умел придать бледно-серый цвет, что для оружейников всей Сибири являлось непостижимой, достойной удивления тайной. Железо и золото, сталь и серебро были одинаково покорны его руке. Много он выделал ценного оружия и под старость ослеп от ядов и кислот, употреблявшихся при работе, но дела своего не оставлял.

Мурлыкая под нос стихи Корана и прислушиваясь к визгу напильника и дрели молотка, он расхаживал по мастерским, брал изделия оружейников и, осязанием обнаруживая изъяны, ворчал:

- Хайрюла, насеченный тобою узор бледен. Тебя плохо кормит жена? Силы недостает твоим рукам, или тебе изменяет глаз? Каждая линия узора должна прощупываться, как кость в худой собаке... Возьми и доделай.

Останавливался около другого мастера:

- У тебя, Тагир, кислота излиха глубоко проела сталь. Шашка перелетит при первом крепком ударе. Резьба, сколь она ни была бы мелка и густа, не должна умалять гибкости булата: все жилки и желобки направляй так, чтоб удар клинка скользил вне соединений.

Шел дальше и бормотал:

- Наше дело святое. Нет ремесла выше нашего. Думайте, как из железа выгнать вес, оставив ему силу его... От меча требуется тяжесть, а щит и копье должны быть только прочными и легкими.

Последней работой Гасана была шашка, над которой он высидел много лет. В рукоятку ее были вделаны тигровые когти, на полете она поражала легкостью, но была столь прочна, что при умелом ударе ею можно было рассечь быка. По хоросанскому булату клинописью струился коленчатый узор, который, проходя во всю ширину клинка, повторялся по его длине. При падении клинок давал

золотистый отлив, был бурен, как горный поток, и сверкал при свете дня, как сколок чистого льда: было удивительно, что он не прозрачен. Насеченная по тупию клинка строка арабского письма гласила: "Не надейся на меня, если у тебя нет храбрости".

Гасан подарил шашку Маметкулу.

Руки мастера дрожали, и от волнения слеза заливала его незрячие глаза, когда он передавал шашку Маметкулу:

– Бери. Ты самый храбрый в нашем народе... Много [111/112] бессонных ночей, как молитве, отдал я этой работе и ослеп на ней... Бери. Шашка окупит себя: один удар ты заплатишь за Алтай, другой – за Русь.

Маметкул поцеловал иссохшую руку мастера.

В лесных кряжах, в крутых берегах сытая текла река.

По лесным тропам, рекою и по болотным стежкам на призыв вождя спешили вогулы. Всклооченные черные волосы ниспадали до плеч, а смуглые лица и горячий блеск глаз обличали в вогулах южное племя, заброшенное в этот край волею судеб в пору великого переселения народов. С ними бежали своры свирепых псов.

На лесной поляне, над искрящимся ручьем – мольбище: груды белых вымытых дождями костей, увенчанные ветвистыми рогами высохшие головы оленей. Валялась старая, исклеванная птицами оленья шкура.

В зеленом сне стояла тайга. Ели да сосны изливали смолистый дух. Собаки, высунув горячие языки, скакали вокруг кедра, на котором резвилась белка, перелетая с ветки на ветку. Тишина была выткана нитями комариного звона.

На берегу охотники ставили костры, наводили котлы.

– Какие вести, Кваня? – спросил один другого.

– Воевал маленько... Хорошо.

– С кем воевал?

– С русскими воевал... Все стрелы выметал и убежал.

– Где твой брат?

– Убили брата... Заберу его жену, оленей, собак, нарту. Все заберу, буду богатый.

– Глупый! Завтра и тебя убьют.

– Ну-у-у! – свистнул Кваня. – Убегу на Конду. Я умный.

– Казаки и на Конде тебя достигнут да ум твой смоят кровью.

Из-за поворота реки вывернулся челн вождя Ишбердея. Под сильным ударом весла челн летел – на обе стороны с шумом разбегались волны. Вождь подплыл и, оперевшись веслом в дно реки, легко выпрыгнул на берег, прямо на сухое место; непокрытая голова его была охвачена пламенем первой седины; на левое плечо был накинута яркая из косматой шкуры дикого козла; на ногах кожаные, обшитые железом чулки; на поясе болтались пристегнутые ремешками – нож, огниво, игольник, остроконечная костяная бляха для чистки трубки и костяной, величиною в ноготь, идол.

Приветствовали вождя, припадая на одно колено. Шаман вывел в круг жертвенного оленя и, засучив меховой рукав, взмахнул клинком.

Олень

грохнулся. [112/113]

По нежной коже его, как рябь по воде, заструилась дрожь; трепетал воткнутой в сердце нож; и вот уже смертной пеленою, словно дымом, затягивает слезящийся тускнеющий глаз его, устремленный в чащу леса.

Собаки, поджав хвосты, отбежали.

Шаман выдернул нож да, наточив в горсть крови, хлебнул и заткнул рану пучком мха.

– Горе! – с тоскою и страстью воскликнул он, ударив в бубен, и, как чумной, закружился в быстром танце. – Горе вогулам!..

В хмуrom молчании слушали охотники завывания шамана и далекий перестук топоров: то посланные на высмотр разведчики ударом обуха о ствол дерева, от

жилья к жилью и от стойбища к стойбищу подавали условный знак о продвижении врага, – так жители тайги и болот на огромные расстояния за самое короткое время узнавали, рано ли казаки остановились на ночевку, где плывут да какого берега держатся.

Мрачно гудел бубен, созывая богов.

Прислоненный к пеньку болван – грубая, намазанная кровью морда – безучастно глядел дырочками глаз на беду племени.

– Горе! Горе вогулам!

Чуя беду, подвывали собаки.

Шаман упал, бубен откатился в сторону. Страшное лицо его было перекошено судорогой, клочья пены стекали по бороде. Собаки, задрвав клыкастые морды, взвыли, жалуясь своему собачьему богу.

Вождь:

– Слушай, народ!.. Плывут... Закованные в железо... Харт-сали-уй... (Железные волки.) Несут нам гибель... Всех перебьют или навечно обневолят... Ихние собаки сожрут наших собак... Разрушат наши жилища... Сядут на наших реках, выжгут леса под пашни и отгонят зверя... Встретил я на Яскалбинском болоте Кучумова скорца. Зовет хан все ясачные племена заодно воевать против казаков. Богатые подарки сулит хан... Пойдем ли, вогулы, воевать? Отвечайте мне, я отвечу скорцу, скорец – хану.

Иные сурово молчали, иные вскинули копья с костяными и железными наконечниками:

– Война!

– Война!

Но вот заговорил старый охотник Якаш, и все притихли:

– Мы сильны силою, русские сильны пушканами. У нас – копье и лук, у них – огонь и железные стрелы. Старые боги не помогают нам, новых – не знаем. Как будем воевать?

– Как будем воевать! – подхватил молодой вогул и, приспустив с плеча овчину, невесть в который раз показал всем стреляную рану; на рану от жары уже наклюнулись черви. – Сами шайтаны помогают казакам. [113/114]

– Горе вогулам!

– Кориться?

– Нет, нет! Боги русских нашьют на нас болезни, а на оленей и собак наших – мор.

– Казаков мало, нас много... Думайте, старики, как бы напуститься на них с какой хитростью да перебить их, да попить на ихних могилах.

– За ними след в след придут другие.

Седовласый Якаш воткнул копье в землю и сказал:

– Воевать не надо, бежать надо... Мы воевали с русскими в Лялинской волости, и они разбили нас, – там лег мой старший сын Хрокум... Мы напали на них у Большого Янцаевского озера, и они разбили нас, – там лег мой другой сын, Агалак... На Лобве и Косьве казаки разорили вогульские юрты и богов наших со смехом пометали в реку, – там лег мой брат Ебелко. Я остался один среди баб и детей. Убьют меня, кто их будет кормить?

– Я, – ответил вождь.

– Ты, Ишбердей?... Ты сам рвешь из наших ртов и кормишься меж юрт наших. Весною мы мокнем по горло в ледяной воде, а ты со старшинами выбираешь из наших сетей самую крупную рыбу. Зимами мы гоняемся по тайге за зверем, а лучшие шкурки, добытые нами, ты, Ишбердей, своими руками отдаешь купцам в обмен за погремушки и сукна, в которые наряжаешь жен своих, да сыновей своих, да всю родню свою...

– Молчи, Якаш!

– В Лялинской волости лег мой старший сын Хрокум; в Большом Янцаевском озере казаками утоплен мой другой сын, Агалак; на берегу реки Косьвы железная стрела пробила голову моему брату Ебелке: они не велят мне молчать... У тебя под яргаком, Ишбердей, жирное брюхо, а у нас в яргаках –

вши. Вокруг твоих юрт олени и собаки клубятся, как комары...

– Молчи! – крикнул вождь и тупием копыя сшиб Якаша с ног. – Весь народ глядит в одну сторону, ты глядишь в другую сторону. Откочевывай от нас, живи где похочешь один, пускай волки съедят тебя да изблюют твои кости на гнилом болоте.

Вождь, попирая ногой возмутителя, подверг его самой позорной казни, какую знали охотники: сломал над головой Якаша лук и стрелу.

Ни один не посмел поднять голоса в защиту Якаша. Поели мясо жертвенного оленя и разъехались по своим станам, чтоб собраться и идти туда, куда звал вождь.

Отверженный пришел в полную сирот юрту да, взыв с отчаяния, зарылся в холодную золу очага и уснул, чтоб завтра собрать свой скарб на нарту и откочевать куда глаза глядят. [114/115]

31

Широко разбросалась тундра.

Реки и речки, озера и озерца, ржавые в тусклом блеске болота, кочки бурых лишаяев и поляны светло-зеленых мхов.

На моховищах, выбирая ягель, паслись олени. Ветвистые рога оленьи качались, как лес.

Закинув голову и кидая копытами ошметки мерзлой грязи, по одному следу мчались лоси, а вдогонку за ними стлалась стая храпящих острорылых волков. Сохатые, стремясь уйти от зубов смерти, перемахивали ручьи и преграды, задние перепрыгивали через передних.

На вой волка и на лай лисицы из далекого моря с плывущей льдины хриплым ревом отзывался белый медведь.

На озере дальнем лебедь с лебедушкой кружились в брачном танце.

Веснами в протоки и затоны набивалась такая сила рыбы, что воткнутое в рыбье урево весло оставалось стоять торчком. А там – отплещут, отсверкают рыбки свадьбы, схлынет ярая вода, – икрою, как грязью, затягивало обмелевшие места: собаки лазили и вязли в икре по брюхо.

По горам, по долам гулял непуганый зверь, на счастье каждой руке, несущей лук и копье.

В пору охоты в чумах не угасали огни, с очагов не снимались котлы, в которых варилось мясо. Охотники много ели и были сильны.

В широкой долине, меж двух лесных кряжей, раскинулось остяцкое становище.

В дымных, крытых берестой чумах горели огни, в котлах варилось жирное мясо. Закопченные голые ребятишки катались по земле, играли с собаками. По окрайку болота бродили жирные, обленившиеся олени. В оленьей моче, собранной по горсти неспособными к охоте стариками, квасились кожи, приготавливаемые к выделке.

Паслись мирные озера. Солнце, скользя по небосклону, макало в озера рыжую бороду.

...Олень выискивал ягель. За оленем охотились комар и волк. За комаром – паук и лягушка. Собаки заедали волка. Птица склевывала паука и комара, лягушку хватала щука. Мышь точила болотный корень, лиса промышляла зайца, тяжелого глухаря и тетерева, разрывала мышиную нору. Таежная пчела собирала ясак с цветка; медведь грабил пчелу и громил муравьиные орды, лакомясь муравьиными яйцами.

Много хитрых и сильных, прожорливых и кровожадных бегало, ползало, плавало и летало.

Охотник Ях был хитрее и сильнее всех.

Оленя и собаку он запрягал в нарту, щуку ловил на костяной крючок, молодых медведей душил руками, был столь скор на [115/116] ногу, что лис и песцов хватал на скаку, а в беге по весеннему насту догонял волка и лося.

Изъеденные дымом, гноящиеся глаза его по отчеркнутому острым когтем следу определяли вес и породу зверя. В ночном лесу волосатое ухо его среди множества шорохов и звуков различало писк мыши в земляной норе и дыхание спящей в гнезде птицы.

Ях сидел перед очагом на корточках, выгнув еле прикрытую истертой медвежьей шкурой могучую спину. Камнем он обтачивал нож из оленьего ребра и во все горло распевал песню...

Седой туман,
Пьяная вода,
Гуляет река,
Под ногами грязь
чак, чак...

Буянит вода,
Бежит река,
Мечет петли,
Рыба
прыг, скок...

Кусты обросли
Зеленой шерстью,
Весело зверю,
Скушно охотнику
ха, хах...

Белокрылая
Прилетит зима,
В ледяную нору
Спрячется река
кук, кук...

На добычу
Выйдет зверь,
Охотник побежит
По следу зверя
(Свист лжи)...

Зима,
Метель фффффф,
Чум гудит,
Как бубен
зун, зун...

Белые хвосты
Крутятся над сугробами,
Шурга-пурга,
Темный вой
уу-у, уу-у...

Бог Саляй,
Жена Алга,
Сын Мулейка.
Другого сына
Сохатый
Унес па рогах
а-аа, а-аа...

Собаки лютые,
Густошерстные.
За высокой оградой
Олешки мои
а-ээ, а-ыы...

Запрягу двух седых, [116/117]
Самых быстроногих,

Поеду в гости,
Буду есть чужое
чч-чч-чч...

Ко мне приедут гости,
Заколю важенку,
Будут сыты гости
И собаки их
ык-ык, ык-ык...

Зима-а-а-а-а...
В белой мгле,
Как тень птицы.
Летит нарта моя
э-ке-кей...

Свист полоза,
Храп оленей,
В ноздрях у них льдышки,
А копыта
тах-тах,
тах,
тах-тах,
тах,
тах-тах,
тах...

Снежная пыль
Слепит глаза.
Я везу к себе
Вторую жену,
Красивую Кулу.
Она гладка,
Как лисичка...

Возившаяся у очага женщина быстро обернулась и оскалила зубы:

- А я?
- Ты - ты.

Ях приналег на точильный камень и опять завел:

Зима-а-а-а...

Алга выхватила из кипящего котла кусок мяса и сунула ему в раскрытую пасть, чтобы оборвать песнь.

Ях слотнул мясо, которое летело до дна его пустого желудка, как горячий уголь, и заговорил:

- Ухожу далеко на охоту, уезжаю в гости, - вы будете болтать, скука улетит с дымом очага.

- Мне и так не скучно.

- Она станет помогать тебе мять кожи, выколачивать снег из пологов, латать дыры, прожженные искрами, - тебе будет меньше работы.

- И одна перемну кожи, выколочу полога, залатаю все дыры, хотя бы их было так же много, как шерстинок в самой большой собаке.

- Вы для меня будете все равно, что для гуся два крыла.

- Зачем тебе крылья? У тебя есть две ноги, за которыми не поспевают четыре волчьих. [117/118]

- Люблю тебя столько, - отмерил он ножом кисть руки. - Буду любить вот столько. - И он показал по локоть.

Она взяла его тяжелую руку и выдернутой из волос рыбьей костью отчеркнула полногтя.

- Люби хоть столько, но одну меня.

Печалью, как дымом, подернуло его глаза, грустно сказал:

- В долгую зимнюю ночь вы обе ляжете со мной под одеяло и будете греть

меня.

– И одна согрею, – скрипуче засмеялась она и поцеловала его в шершавую, разодранную в весенней охоте медвежьими когтями щеку.

Он вытянул из глубины меховых штанов снизанное из волчьих зубов ожерелье и набросил жене на шею, а про себя подумал: "Ты – гниль на костях моих... Пойду в лес проверять ловушки и там допою свою песню. Голос мой будет громче лосиного рева. Кула услышит меня, хотя пьет она воду из другой реки и далеко ее становище".

На верхней тропе хрипло забрежал старый кобель Наян. Ему отозвался Порхай, и скоро, влаивая с лихим пристоном, кинулись другие.

Ях по голосам знал всех псов своего становища, и каждый из них по-особенному лаял на всякого зверя, птицу и человека.

– Гость к нам, – послушав собачьи голоса, сказал Ях и вышел из чума.

С пригорка, верхом на косматой лошаденке спускался Кучумов скорец Гирей. Отбиваясь от собак плетью, он проскакал до большого чума князька и осадил храпящего иноходца, с груди и с тяжело ходивших боков которого ключьями стекала грязная пена.

Сбежался народ.

Гирей, отлично знавший нравы тундры, не пренебрег угощением. Ему подали отваренные набитые морошкой медвежьей кишки, – он ел и похваливал хозяина и все его потомство. Подали печеного в золе осетра и нарезанное тонкими ломтями оленьё мясо и блюдо с топленным нутряным жиром, – он объел осетра, макал в жир и, давась от отвращения, глотал оленину и нахваливал охотника, убившего медведя, рыбака, поймавшего осетра, и весь славный остяцкий народ. Прислуживали ему, в знак особого уважения, сыновья князька.

Люди стояли перед чумом князя, переступая от нетерпения с ноги на ногу, но, по обычаю тундры, никто ни о чем не спросил гостя, пока тот не насытился. Вот он рукавом отер жирные губы и отвернулся от недоеденного, показывая, что сыт.

Кругом заголосили:

– Откуда ты, татарин?

– Какие вести?

– Чего привез в сумах?

– Зачем приехал? От нас будешь брать или нам дашь? [118/119]

Гирей поднял руку.

– Война!

Гул... Ахи...

Гирей выждал, пока схлынул шум, и заговорил:

– Со стороны западного ветра, там, где живет ночь, к нам идут воины, стреляющие огнем. Они поедают все, что попадает на зуб, грабят все, что зацепит рука, остальное затапывают в грязь, топят в реке и жгут огнем. Люди те злее зла и хуже чумы. С ними боги ихние. За воинами русскими приплывут жены и дети. Они вытаскают мясо из наших и из ваших котлов, выловят всю рыбу, переведут зверя. Они сильны и прожорливы, будут в радости день и ночь есть чужое. Жены их будут родить, а наши голодные жены не будут родить. Все жители рек, болот и тундры перемерут с голоду и тоски... Кучум, хан сибирских князей и народов, которому вы платите ясак, собирает против нашельцев войско. Из края в край я проскакал тайгу и тундру. Был на реке Тулобе, Пыгме, Яжее и на других реках. Я поднял становища князцов Алачeya и Выкопы, Урлюка и Кошеля, Вони и Бардака и многих иных. Они уже снялись и спешат к городу на подмогу своему хану.

Гирей подал остяцкому князю баранью лопатку, всю исчерченную знаками: то вожди племен и родов клали свои клейма, изъявляя тем покорность и готовность воевать за Кучума. Лопатка переходила из рук в руки, ее внимательно осматривали все охотники и все старики.

Князец, обмахиваясь от комаров крылом селезня, спросил:

– Что мне подарит хан, если я выставлю своих людей на его защиту?

– Много будет подарков... – воскликнул Гирей. – Хан богат: за всю зиму не обскачешь его земель, и один человек за всю жизнь не успеет пересчитать его табуны. Наряды царевых жен стоят богатства всего вашего племени...

Вздых изумления качнул толпу.

Гирей продолжал:

– Вы получите новые котлы, в которых будете варить мясо. На шею каждого вашего бегового оленя и на шею каждой ездовой собаки зазвонят бубенцы. Каждый воин получит столько соли, сколько сможет унести в поле своей шубы... Много жеребят заколет хан, в жеребятках хрящи сладки. Так накормит, что у всех у вас долго будет болеть брюхо.

– А нам чего подарит хан? – крикнула молодая женщина и от страху спряталась за других.

Почитая для себя недостойным разговаривать с женщиной на людях, Кучумов посол продолжал, обращаясь ко всем:

– Железные иголки, что крепче самой твердой рыбьей кости, сученые нитки, что не ломаются подобно сухим жилам, которыми вы сшиваете кожи, табак, дающий сердцу веселье, огниво и ножи, столь острые, что ими можно резать и мясо и дерево... [119/120] И такой, – Гирей поднял над толпой ползавшего у него под ногами голого ребенка, – и такой получит горсть кедровых орехов, а губы его будут намазаны сладким.

Князец, моргая красными мокрыми глазами, восторженно встряхивал всклокоченной головой и приговаривал:

– У-уй... Ножи и чашки, костяные причешёчки и гнутые дуги для нового чума, длинные арканы и железные хватцы, ловящие ногу и мелкого и крупного зверя...

Слушали, стараясь не пропустить и не забыть ни одного слова, повторяли за посульщиком:

– Котлы... Табак... Топоры...

Ях тряхнул головой и прервал скорца:

– Зимой была война. Наш князь Кокуш высватал себе невесту в племени увак. Невесту ему, страшному, не давали, и он плакал перед нами: "У-у-у, хочу невесту... У-у-у, пойдём на них войною... У-у-у, я награжу вас подарками..." Была война с племенем увак. Невесту мы добыли, но потеряли двух своих охотников, ещё один вернулся без глаза, и ещё у одного отгнила пробитая копьем нога. Пойди и посмотри, он лежит в чуме. А кривой на озере ловит рыбу, его можно позвать, и ты увидишь, и все увидят, что один глаз у него пуст. Кокуш устроил свадьбу и много дней пировал со своей родней и с родней невесты, а нам от его пира достались обглоданные кости. Молодая жена родила ему двух сыновей, а у наших вдов дети высохли с голоду, и с голоду подыхают последние собаки... И твой хан ныне плачет: "У-у-у", – а, как минет беда, наградит нас вот чем. – Ях поднял ногу и гулко стрельнул.

Смех и отгул одобрения...

– Свадьба была давно, и не к чему о ней поминать, – сказал князец Кокуш, дав на шею комаров. – Ты, Ях, ещё с прошлой весны должен мне две горсти соли и полсорок бобров и соболей... А тебе, Нуксый, не простил ли я мясной долг? И не я ль подарил тебе старые полозья под нарту?.. И ты, Ньргей, на меня же разеваешь пасть в смехе? Не ты ль добил близ водопоя раненного моим сыном сохатого, и не его ль шкура растянута над входом в твой чум?..

И долго бы ещё мог говорить князец о своей доброте и щедрости, если бы посланец не перебил его.

– Хан зовет вас, храбрецы, под свое крыло, – сказал Гирей. – Если не выйдете на защиту Сибири, то да не доходит ваша одежда до колен, рукава до локтей, да будут бесплодны ваши совещания и пусты котлы... Велик бог! А коли пойдете на зов хана, то и заживете лучше, чем прежде жили, – одежда ваша всегда будет в сале, котлы грязны и табуны многочисленны.

Кокуш почмокал мокрыми губами.

– Как будем воевать?.. Людей у меня осталось на счету, собак и оленей осталось на счету. Охотники заговорили меж собой: [120/121]

– Уйдем, а близко время охоты.

– Мы бедны...

– Ясак не по промыслам твой хан дерет.

– Дай табаку!

– Дай! Мы покурим, и мысли наши прояснеют. Гирей отвязал от седельной сумки выделанный из коровьего вымени мешок и всех оделил табаком.

– Русские богаты, – продолжал он убеждать, обращаясь то к одному, то к другому. – Мы перебьем русских, а все их богатства хан поделит меж вами. Трус получит столько, а храбрый – вот сколько... Кучум ничего для вас не пожалеет.

Долго шумело становище.

К вечеру же князец Кокуш нацарапал на бараньей лопатке свое клеймо – изображение бегущей лисицы.

Гирей, следуя обычаю, выколол золу из трубки в очаг, чтобы не уносить родового огня, и, заседлав отдохнувшего коня, поскакал дальше, в глубь тундры.

32

Плыли.

33

Скрипела осень... Догорал багряный лист на дереве, звенел червонный лист, обрываясь на ветру. Дышал стужею, дымил Тобол. Прихватывали утренники, по ночам вода у берегов застывала. Низко над рекою, шелестя тугим крылом, пролетали последние караваны гусей, – казаки с тоской глядели им вослед.

Сеялся по тем местам слух злой:

– Плынут...

Снимались народы с обжитых станов и уходили подальше от реки, забирали с собой рыболовную и зверобойную снасть, съестные запасы, угоняли скот.

Берега оставались немые и безлюдны.

Посланный Строгановыми вдогонку хлебный и соляной обоз был перехвачен туринскими вогулами. Питались казаки кое-как и кое-чем, перебиваясь с ягоды на болотное коренье, стреляли птицу, кистенями били медведей, доедали плесневелые сухари.

Заклевали удалых горести да скорби, напали на гулебщиков лихие болезни.

Глухой ночью, на стану близ устья Тавды, в шатер Ярмака вполз есаул Осташка Лаврентьев и:

– Проснись, атаман...

– Ммм... [121/122]

– Против тебя зашептывается недоброе, и злоба уже просится в дело...

Проснись.

– Чего там?

– Дуруют... Побили кормщика Гуртового, соли просят и хлеба... Уговариваются прорубить днище да затопить твою каторгу.

Ярмак откинул меховое одеяло и сел.

– Кто?

– Яшка Брень, Забалуй, Угрюм, Игренька, Полухан, Мишка Козел и другие...

– Опять Полухан? Опять Игренька? Ну ж погодите, сучьи дети, я вам посбиваю рога! – Ярмак раскурил трубку и внимательно осмотрел пистолы, кои даже во время сна были у него засунуты за пояс. – Чего они хотят?

– Хвастают всяким лихим, злым умышлением, похваляются мальми шайками розно брести... Иные изнемогли, иные собрали богатство немалое... Атаманы

курений меж собой перелялись: Иван Кольцо Мещеряку ус с корнем выдрал, Брязга Пану ножом руку распластал, Мамыка, ухватя весельце, громит всех подряд... Такая заварилась замятия! Ты бы вышел, атаман...

- Иду.

Ветер хлопал полотняной полою шатра, висели нити дождя, глухо шумела тайга.

Вокруг дымных костров стояли и сидели, кутаясь в рубища. Ярмак, держась тени, шел по стану и слушал ругню...

- Пируют атаманы нашей кровью.

- Зарез, братья... Воды много, хлеба нет, - без смерти смерть...

- Провались она пропадом, эта самая Сибирь!

- Да, да... Много сюда силы гнали, да назад не выганивали.

- Слава...

- Славой сыт не будешь.

- Сибирь... Господи, места-то какие страшные! - оглянулся и перекрестился бурлак Дери-Нос. - Куда забрели? Сколько народушку примерло! Погнались за крохой, без ломтя остались.

- А по мне все одно где жить... Мужики там родина, где хлеба побольше...

- Оно так, дядя Лупан, сыты были - нас сюда и на аркане не затащить бы.

- Погуляли, пора бы и на Русь возвратиться.

- Возвернись... Кабы, как журавлю, крылья!

- По Тавде уйдем, покуда идти можно и река не смерзлась, а в месте добром пересядем на коней и гайда через Камень.

- Река быстра, встречу воды не выгребем.

- А по мне, пуститься на волю божью и - вперед! [122/123] Возьмем город Кучума, перезимуем-перебедуем, дождемся хорошего тепла и на конях степями через киргиз и башкир утечем на Яик да на Волгу.

- Чего жрать будем? Кровь из-под зубов идет.

- А бог-то? Нам только бы до русских мест добраться, а там прокормимся - где милостыней, где отвагой.

- Смерть свою тут ищем... Не допечет нас Сибирь огнем, так проберет морозом.

- За грехи господь насылает. Погубили мы много сибирцев где по делу, а где и не по делу.

- Кручинно, надсадно плавную службу нести. Выбраться бы на дорогу и шагать потихоньку...

- А на Дону-то, братцы, ныне благодать...

- Помолчи, Лыч, о Доне - не растравляй сердца.

Яшка Брень стоял перед костром на коленках, громко и смело кричал:

- Пльвем и пльвем... Мы не гуси, а человеки, надоело нам плавать...

Царь рублем манит, грош дает да за тот грош шкуру с нас дерет! Донские и волские раздолья исстари наши. Нечего тут искать чужого. Погуляли, пора и ко дворам. Добра нагребли бугры - хватит и себе на рубаху и Маланье на рукава, коли у кого Маланья есть. Кучум, слышно, собрал силу несметную: поднял вогул и кара-киргиз, ведет на нас остяцкую землю, а нас - и семи полных сотен не осталось.

Отовсюду слышались прелестные речи, задирщики возмущали казаков, вспоминая все перенесенные лишения и грозя еще большими бедами.

Но вот проиграла есаульская труба, казаки сошлись к атаманову шатру.

Ярмак стоял на стволе поваленного бурей кедра. Остроконечная с заломом шапка, малиновый верх; длиннополый, сшитый из черных жеребьячьих шкур, ярмак с двойными рукавами, - одни надеты, другие болтались для красоты. Со всех сторон из кромешной темноты в бороду атамана летели дерзкие голоса:

- Мир!

- На Дон!

- На Волгу хотим!

- Будя кровавить руки, сиротить здешний край!
- Растрясли тут силу свою.
- Атаманы завели нас и продали за царицы калачи.
- Али на Русь нам возврату нет? Какой год не слышим звона колокольного.
- Чего тут ищем? Погибель свою ищем!
- Кто вынесет из Сибири добычу, а кто и голову свою оставит.
- Отпусти нас, атаман, в отраду!
- А на Дону-то, братцы, ныне благодать - теплота, светлота, степь, ковыли... [123/124]

Ярмак молчал, ватага шумела.

- Куда идем?
- В Сибирь идем, татарских ханов громить и свое, казачье царство ставить.
- Кому на царстве царевать, а кому горе горевать... За купцов вожем.
- Сибирь велика, нас мало, - потеряемся.
- Напутали, не стрясти.
- Мир!
- Назад на Русь!
- Спусти нас, атаман, на свою волю.

Черкас Полухан, сблизившись с Иваном Кольцо нос в нос, кричал:

- Атаманы! Отцы вы наши родные! Поманили вас Строгановы купцы блином масляным, вы и губы распустили... Зачем мы сюда шли и чего тута нашли? Одежонка поистрепалась, сапожишки поизносились, волосенки свои порастеряли, пропада-а-а-а-ем!..

Поп Семен взобрался на колоду и поднял над толпой железный крест:

- Слушайте, послушайте, громители и добрые стояльцы за веру Христову и землю русскую!

- Брысь, травяной мешок! - За полы кафтана кто-то сдернул попа с колоды.

Осташка Лаврентьев звонко и нараспев, по-есаульски, прокричал:

- Помолчи, честная станица! Помолчите, атаманы-молодцы. Ярмак Тимофеевич свое слово скажет.

Мало-помалу затихли. Ярмак - глухо:

- От вас ли слышу срамные речи? Давно ли целовали святой крест? Губы ваши еще не обсохли после крестного целования... Ко мне широка дорога, - вдруг бешено закричал он, - а от меня дорога одна - к черту в зубы!

Топоры ропота:

- Легче, атаман, с пупа сорвешь!
- Горе наше тут гуляет.
- Ты грозен, да и мы ныне облютели... Ты нас боем не страшай, мы ныне и сами медведя испужаем.

Никиты Пана выкрик:

- Мещеряк!.. Он, он, мордовский лапоть, всему злу начальник.
- Врешь, язычник, - обернулся к нему Мещеряк, - уцеплю вот тебя за рыжий чуб, отверчу голову, как подсолнечник, да и кину собакам.

Ватага Мещеряка заволновалась:

- Его голову и собаки жрать не станут.
- Карсыгай!
- Рыжий палёный, чертом подаренный! [124/125]

В руке Пана сверкнул засапожный нож.

- Заколю...

Пана и Мещеряка казаки растащили в разные стороны. В толпе шныряли подговорщики и возмущали людей, а косоплечий Игренька уже наскакивал на Ярмака с кулаками.

- Злоехидный зверь, злокозненная душа... Умел завести, сумей вывести!

От стругов, из темноты кричали:

- Смерть атаману!

- В куль его да в воду!

- Под обух!

- Мир!

- На Русь!

- Смерть Ярмаку!

Возгорелось сердце Ярмака гневом, в буйном омрачении он рыкнул:

- Так-то?!

Выдернул из ножен меч

передние попятились.

Он перехватил меч за лёзо и протянул рукоятью в толпу.

- Ну, якар мар, кто удалой? Руби голову своему атаману!

Откачнулись

притихли.

- Назовись, удалой! Руби голову своему атаману! А потом беги к Кучуму-султану и служи ему, забыв веру свою, землю свою, заветы отцов и дедов своих!

Молчали буяны.

Ярмак бросил меч в ножны и повернулся к стоявшим отдельной кучкой атаманам и сотникам.

- Ваша совесть, как цыганов кафтан, и коротка и латана... Дуром-валом да поблажкою распустили своих людей. Коли и впредь будете слабину пускать да мутить казаков, а меж собой не перестанете лаяться на всю губу, не взвидать мне красного солнышка, - он перекрестился, - перевешаю вас всех на одной осине.

Атаманы стояли понурясь, казаки стояли понурясь, где-то и чье-то прорвалось заглушенное рыданье...

Ярмак:

- От вас ли, казаки, слышу окаянные речи?.. Куда бежать? Осень достигла, в реках лед смерзается... Трусость никого не спасет, а храбростью мы и зипуны добудем и жизнь свою пробавим... Бежать, когда повоевали толикое множество мест и народов, а до Кучума - вот он, шапкой докинуть... Где прошли с головней там нам не идти в обрат, а иных дорог не ведаем... Кричали: "По Тавде уплывем до вершин, а там-де пойдем на конях". Дуросветы, дуропьяны... Тавда ныне жива, завтра стала. А Каменный Пояс давно зима обняла, - ходу через Камень ни пешему, ни конному нет. Бежать, когда земля [125/126] Сибирская сама нам под ноги катится?.. Коли повоюем Кучума, так будем и сыты и пьяны... Не дадимся трусу и худой славы себе не получим, ни укоризны на себя не положим. Не от многих воинов победа бывает. Коли всемогий, в троице славимый бог помощи подаст, то и по смерти нашей память о нас не оскудеет, а слава наша вечна будет... Бежать? Нет, не бывать тому... Вы сами выбрали меня своим коренным атаманом да тем волю с себя сняли. Кончится поход - приговаривайте себе другого, а ныне бог да я в ваших головах вольны... Что думаю - то и говорю, что говорю - то и делаю, было бы вам ведомо... Есаулы, атаманы, куренные старшины, - ко мне!

Молчали

ни один не сдвинулся с места.

- Слышите слово мое? - спросил Ярмак, сверкая очами и сдерживая игривую в нем ярость.

Молчали, собираясь с мыслями. Наконец Никита Пан тихо отозвался:

- Слышим.

Глаза Ярмака ходили, как ножи.

- Три раза атаманское слово не говорится, один раз атаманское слово говорится... Ведаете ли про таков обычай?

- Ведаем, атаман.

Никита Пан, Иван Кольцо, Мещеряк, Брызга, а за ними и есаулы и куренные старшины обступили Ярмака и сняли шапки.

- Наши головы поклонны...

И снова Ярмак заговорил с твердостью:

– Ватага крепка атаманом. Чтоб и впредь не было меж нас смуты и шатости, велю вам, не мешкая ни часу, самых языкастых расказнить принародно, дабы, глядя на то, и иным не было повадно в походе размир чинить да заваривать замятию. А все другие завтра поплывете за мной дальше, на восход солнца... Будь что будет, а будет то, что бог даст! – Ярмак ударил шапкой оземь.

Все, кто был с атаманом заодно, а за ними и иные – страхом одержимы – сперва как бы нехотя, а потом все поспешнее и поспешнее подходили и бросали свои шапки на его шапку: набросали шапок ворох.

Началась казнь.

Игреньку за непослушанье и смутные речи камнями били, кулаками били, пинками пинали, палками щучили да после того в рогожный куль посадили, песком досыпали и, раскачав, метнули в реку.

Яшке Бреню за поносные речи насыпали в рот горсть пороху и огнем зажгли.

Мишке Козлу, что давно похвалялся на Волгу утечь и других к тому звал, подрезали под коленками жилы и засунули его головой в шиповый куст. [126/127] Лыча, что ходил меж казаков да говорил: "А на Дону-то, братцы, ныне благодать", – Ярмак простил юности его ради.

Лытка был посажен на заостренный кол. Кол, просадив всего казака, вышел у него под затылком. Так-то Лытка мучился до утра да еще всяко ругал атаманов, да еще наказывал своему побратиму Черкизу, чтоб тот, возвратясь на Дон, разыскал бы в Раздорском городке девку Палашку да сказал бы ей его, Лыткин, смертный поклон.

Есаул Осташка Лаврентьев макал плеть в горячую смолу и сек черкаса Полухана по нагому телу, а тот из-под плети рычал:

– Хоть ты меня бей, хоть ломи, а все равно тебе с атаманом живыми не бывать!

Ярмак, услышав те речи, подскочил и сам отрубил Полухану голову да велел повесить его за ноги на горелую сосну.

И иные, самые пущие, всякими злыми казнями были расказнены, да и покорным добрая была пристрашка дана.

...Мутное подымалось над седой тайгой солнце, дружина плыла. Передом, распустив паруса, ходко бежала атаманова каторга.

Осень... Линяла степь, сытый волк катался по жухлой траве. Лысые стояли леса, ознобный ветер грабил лесов последнюю красу. Бежал Иртыш, гремящею волною, как щитом, играя.

К городу со всех сторон поспешали смельцы и стояльцы за Кучумову державу.

Верхами на оленях пригнали самоеды. Одеты они были по-летнему, в длиннополые, сшитые из рыбьих шкур кафтанцы, обуты в стянутые из рыбьего пузыря и набитые мхом сапоги или в вывертни из цельной шкурки молодой нерпы; каждый был подпоясан жильной веревкой, а то и просаленной моржовой кишкой.

В лодках, подпряженных возовыми собаками, большим караваном шли сургутские и самаровские остяки, которых издалека можно было узнать по высоким островерхим шапкам. Хозяин, по своему обычаю, сидел на корме и, лениво шевеля веслом, думал, как жить дальше. А жена и дети, еле поспевая, бежали по берегу за собаками; ребятишки отдавали цеплявшуюся за кочку и за куст лямку, помогали матери выбирать из выброшенного волною дрязгу размягченные гниением съедобные водоросли, на бегу хватали лягушек и, надкусывая им головы, совали в кожаный мешок, что у каждого болтался сбоку.

Привел свой народ нарымский князек Воня. Нарымцы, в отличие от других,

сидели в лодках не шелохнувшись. Работали они только кистями рук, быстро действуя коротким веслом – толстый валек, широкое перо. Лодка князя была застлана [127/128] самолучшими соболями, соболя свешивались за борт, касаясь оскаленными мордами воды.

На плотках и челнах приплыли вогулы, вооруженные боевыми топорами на длинных ратовищах да копьями с костяными и железными наконечниками. Ишбердей разогнал свою ловкую лодчонку и, на удивление глазевшим с яра остякам, заставил ее извиваться, как выдру, прежде чем пристал к берегу, да на весле, оперев его в дно реки, махнул прямо на сухое место.

Толпою пришли идоломольцы Васюганских болот с огромными – расписанными чудовищными харями – щитами, кои должны были нагонять страх на врагов. Да они ж приволокли с собою самого большого болвана, груборубленая морда которого до ушей была измазана кровью и облеплена присохшей рыбьей чешуей.

Налетели кочевники Ишимских и Барабинских степей. Обряжены они были – взамен кольчуг – в кожаные воловьих шкур рубахи с короткими рукавами да в верблужьи охабни (верхняя одежда), валянные из смоченной и выкатанной в песке кошмы. Каждый род под своим знаменем, у сотен различительные значки – разноцветные ленты и лоскутья на длинных пиках. На древках двузубчатых копий развевались пучки крашенных конских волос.

Тажные охотники привели с собою своры густой злобы псов, которых на войне они напускали на врага. Саадаки таежников были туго набиты оперенными стрелами, а луки стянуты тетивами из медвежьих жил, – пущенная с такой тетивы стрела валила волка с ног, лису пробивала навывлет. За плечами двулёзые рогатины, на поясах тяжелые чаканы с гвоздевым обухом.

Прикочевали любопытства ради и с тайным умыслом ударить при случае по тылам Кучума чатские татары двоеданцы, что давно уже якшались с киргиз–кайсацкой ордой, ясак тамошним князьям давали и других к тому тянули. С ними пришли с караваном мелочного товара курганские купцы и шайки бродячих поэтов да музыкантов, не пропускавших ни одного сборища народного, будь то война, празник, свадьба или похороны богатого человека.

На косматых шустрях лошаденках примчались алтайцы с луками из рогов буйвола и с шилообразными, для пробивания железных кольчуг, метательными копьецами на десятисаженных ремнях. Запыленные всадники въехали в город, развернув над собою, как знамя, боевую песнь. В клёкоте чистых, напоенных горными ветрами голосов слышалась сила и удаль народа. Скуластые, медноликие, в пестрых халатах, помахивая в лад песни нагайками, они сидели в высоких седлах небрежно, чуточку свешиваясь на левую сторону. Китайских статей меховые шапки с репейками на макушках были лихо сдвинуты на затылки.

В чайные военной поживы пришли и иные народы сибирских земель. Каждое племя облюбовывало себе место для стана. [128/129] Вогулы, остяки и самоеды жались к реке; глава семьи составлял костром четыре жердины, сверху накидывал шитый кошелем мех, и – походный чум готов. Кочевникам тесно казалось в стенах города, раскидывали юрты по степи, далеко одну от другой, для выпаса лошадей. Болотные идоломольцы жили под открытым небом, спали, свалаясь в одну кучу. Вокруг ханских жилищ были устроены коновязи для коней самых почетных и богатых гостей.

Всем собравшимся было выставлено угощение.

Иноходью бегали кухари, разнося медные и серебряные блюда со всячиной: дымилась жирная баранина, куски махана разили лошадиным потом, гуси были набиты изюмом и фисташками, дикие голуби и тетерева сдобрены пряностями да залиты сваренной из лимонов подливкой, сушеная икра и бухарские дыни, сахарные завитки на бараньем сале да полные турсуки кумыса.

Жителям тундры и болот были изготовлены любимые кушанья: грибная похлебка с оленьей кровью и сырое тесто из овсяной муки с медвежьим нутряным жиром; жареные на рожне рыбы и олений, вываленный в горячей золе мозг; жирные, срезанные с живых осетров горбы; чуть опаленные на огне губы и копыта молодого оленя.

Мужья, проворно действуя ножами, отхватывали куски, дробили мозговые кости – грызли, чавкали, обсасывали да кидали остатки женам, а жены, насытившись сами, кормили объедками своих собак. Чего не могли пожрать, то расхватывали и прятали за пазухи, в штаны, в голенища просторных сапог. Дети грызли гусиные лапки, жевали листовничную серу, обгладывали хрящи с оленьих рогов. Обожравшиеся собаки, презаблбно скуля, катались по земле. Да иной и хозяин валялся рядом с собакой, тиская себе кулаками брюхо; иные, чтобы опьянеть, пили отвар мухомора и корней ядовитых болотных трав.

Кучум, мало с костей мясо окроша, раздавал мослы князьям, мурзам и вождям племен, что с женами и детьми и со всеми родичами своими вились около его юрты, как комары весной.

– Рад вам, – зорко приглядывался он к гостям. – Звал вас с народом, вы пришли. Опасался казаков, а ныне они мне не страшны.

– И мы рады, – прохрипел, чуть ворочая осоловельми глазами, остяцкий князек Алачей. – Ты богат, мы сильны. Ты нас кормишь, мы за тебя выйдем воевать. Ты всем нам чего-нибудь подаришь, мы после войны с песнями разбредемся по своим кочевьям и становищам и долго будем вспоминать тебя сладкими речами.

– Повоюете казаков, так никаких подарков не пожалею.

– Да не будет, хан, гнило слово и мутна память твоя!

– Я на своем слове тверд. Не за тем вас сюда созвал, чтоб мазать ваши уста жиром. Много дам подарков... До народов слово [129/130] мое донесите. А пока – ешьте, ешьте, до того, чтобы из горла наружу торчало.

– Мы... Ык! – Алачей отпрыгнул неразжеванную, вывалянную в шерсти баранью почку.

Кругом сыто засмеялись.

Алачей спрятал почку в широкий рукав и досказал:

– Мы насытились и готовы нападать и стрелять, колоть и тять.

Кучум:

– Выждем вестей... Послан мною в тобольские места на высмотры Маметкул с уланами. Русские, слышно, сидят в беде – собак своих последних съели, лыко с голоду сосут... Выждем добрых вестей и согласно ударим на казаков.

Вожди и князцы, мурзы и военачальники подобно гусакам загагакали:

– Ударим.

– Горе чужеядцам!

– Они бараны, мы волки, – умнём.

– Не будем щадить!

– Навечно падем мы им в память.

– Стрелы моих воинов отравлены гнилым жиром, – осклабился и торжествующе посмотрел кругом зобатый вождь идоломольцев Васюган. – Зверь от той стрелы скоро умирает.

– А у меня, – князец Самар всем дал пощупать шапку, – сюда зашита кость мертвого отца: будет удача.

– Окружим казаков и и-и-и-и-и-и-и!.. Не найдут норы, куда бы спрятаться от наших стрел и топоров.

– Убитых скормим собакам.

– С нами боги.

– Война! Война!

– Пьем, едим...

Алтайский старый князь, Тулай, женатый на дочери Кучума, сидел бок о бок с тестем и нашепывал ему на ухо:

– Не спусть та выхваль, хан? Не погнулись бы суесловы на труса? Затверди ихнюю похвальбу клятвою. Свяжи их шертью, как веревкой. – Из кости точеной чашкой черпал Тулай кумыс и медленно тянул сквозь зубы. Сафьяновые, с кисточками на голенищах, сапоги его были расшиты цветными шелками и украшены серебряными поделками, подобными коготкам белки. В перстне князя крупный рубин горел, как глаз разъяренного тигра. – Не дайся обману, хан. В

бою пусти их вперед, да секутся с казаками.

– Пущу вперед, – согласно повторил Кучум, – да секутся с казаками. Мусульман у меня мало, буду беречь.

– А те, что побегут с поля, убоясь русского огня, – те будут наткаться на наши пики. [130/131]

– Иншалла!

Кучум встал и обратился ко всем:

– О храбрачи! Веселят меня смелые речи. Да отведают казаки силу руки и твердость копий ваших. Посшибайте с них головы под копыта коней и оленей, втопчите их тела в землю! Вы – моя радость и утешение. С вами, молодцами, я и сам молодею. Хочу видеть народы, слушать песни, зреть игрища и пляски.

– Айда, хан, с нами!

– Покажем тебе свои станы, оленей и собак... Луки и топоры, щиты и копыя...

– Подивисься на ловкачей и силачей наших.

Кучум вышел из юрты. Табунщик подвел ему арабскую, сказочной красоты, гнедую кобылу. Хан с юношеской легкостью вскочил в седло и тронул шагом. У стремени его, как тени, шли князья, мурзы и вожди племен с женами, детьми и родичами своими. И кто бы ни попался на дороге, всяк поворачивал и шел или ехал вослед хану, как того требовал обычай.

Наплывал вечер, над темными тяжелыми лесами сиял и пламенел ликующий закат. Червонным жаром отливали прямые, как мечи, сосны. Далеко по степи стлался горький дым костров, коней ржанье, разноязычный говор, слитный гул торжества.

Богатыри похвалялись силой да, ухватив друг друга за ошкур меховых штанов, тяжело ходили по кругу. Дыханье из могучих грудей вырывалось с шумом, лица были измазаны грязью и кровью.

Сургутские остяки в лубяных, расписанных углем масках вели медвежий танец. Таежные охотники, удерживая дыхание, следили за каждым движением танцующих, ноздри их трепетали, глаза блестели.

Зашитые в цельные конские шкуры табаринцы исполняли лошадиную пляску: жеребец гулял в табуне кобылиц. Степняки взирали на игрище с волнением, и время от времени из их глоток рвались крики одобрения.

Молодые состязались в беге и ловкости, играли в казло-мазло, метали копыя.

Ях на полном скаку остановил пятилетнего оленя, накинув ему на шею аркан.

Другой силач вышталал деревцо с корнем и с яру бросил его в реку.

В ином месте были поставлены гуськом три оленя. Молодой вогул с разбегу, опершись о рога переднего, перемахнул и сел на спину заднего.

Самоеды и самаровские остяки гонялись на лодках, тянулись на палках, стравливали собак.

Идоломольцы над головою своего болвана высекали огнивом из кремня искры, точили боевые ножи, голося с завойкою заунывную, хватающую за сердце песнь. [131/132]

Поэты и музыканты показывали свое искусство. Дико выла зурна.

Всюду сновали и горланили купцы, расхваливая товары.

В кругу охотников и рыбаков кондинский шаман Алейка жег на углях баранью лопатку и по трещинам, что стреляли по кости, предсказывал будущее.

Кочевники являли дивеса джигитовки.

Охотники состязались в стрельбе из лука. Один подкидывал шапку, другой стрелой попадал в шапку на лету. Вот седоусый старшина Мукей из рода назимов ножом затесал на кедре залысинку и, отойдя шагов на тридцать, пустил стрелу, она попала в цель. Второй стрелой Мукей расколол свою первую стрелу, попав в ее тупеё. Слава такого стрелка живет века, передаваясь из рода в род и из племя в племя, обрастая седою шерстью легенды.

Кучум проехал к яме с русским ясырем.

Ослабевший от пыток и голода Куземка Злычой сидел на дне ямы. Замученные глаза его были пусты и одичали, щека от губы до уха рассечена, залубеневшая от крови шапка былакинута под ноги. Фока Волкорез в рубахе, разорванной от ворота до пупка, бегал по яме и лаялся с караульными уланами, кои забавлялись, протягивая пленникам на концах копий куски мяса. Ослепленный полубраток Мулгай лежал свернувшись и скупостонал.

Кучумостановился над ямой и некоторое время молча глядел на ясырей. Исхлестанное глубокими морщинамилицо его было черство, а крепко сжатый рот суров и тверд, как когтистая лапа зверя. "Так вот они, искры пожара, что надвигается на Сибирь! – должно быть, думал он – Вот они, пальцы железной руки, что тянутся к моему горлу!"

Привстал на стременах и заговорил:

– Вы, люди, пришедшие из-за Камня с злым умыслом, слушайте!

Фока, будто камнем, запустил в хана сибирского матюком. Кучум гневно засопел и указал на него плетью:

– Голову!

Мурза Кутук Енарасланов, ухватив за чупрыну, выдернул казака из ямы, оторванной полой кафтана завязал ему глаза и отрубил голову.

– Кто пришел? – спросил Мулгай Куземку.

– Похоже, самый наибольший, – отозвался Злычой, – кобылы такой вовек не видывал.

– Волкореза порешили?

– Фока испекся... Молись, Мулгай, и наша смерть накатывается.

Мулгай подняллицо с кровавыми пятнами вместо глаз и торопливо закрестился, забормотал: [132/133]

– Бог Миколка, бог Егорка, бог Мишка... Я, новокрещеный татарин Мулгай, помню вас, и вы меня в обиду не давайте.

Кучум стоял над ним, горько морщась:

– Шелудивый пес! Ты отрелся от закона отцов и дедов своих? Принял чужую веру, которой не знаешь?

– Вера Христа истинна, а все другие – тьфу!

– Кто тебя тому научил?

– Атаман Мартьян.

– Биллягы! (Божба.) – воскликнул Кучум, подняв очи к пылающему небу. – Пусть забудется имя мое, если я не убью тебя раньше, чем закатится солнце. Велю срезать с тебя мясо кусками и накормлю собак твоим мясом. Джиргыцин! (Божба.) Тебе не гулять больше по степи, не топтать травы.

– Бог Миколка возьмет меня к себе на небо да подарит мне глаза беркута. До скончания веков буду смотреть с неба на степь и на табуны. Увижу, как и тебя, хан, казаки разволокут по полю конями.

– О шакал! Ты еще скалишь зубы и мечешь хулу на меня? Сдеру с тебя кожу и набью ее гнилым сеном! Вырву язык твой да велю засунуть его свинье в гузно!

– Сквозь и твои ребра, хан, трава прорастет, и твои кости, хан, польнь оплетет... Недалек тот день, когда и из твоих ноздрей, хан, черви потекут...

Кучум кричал в беспамятстве:

– Сабли улан, как молнии, скрестятся над Русью! Кровью русской залью дороги! Разорю мох на крышах жилищ, города и села подьму огнем да пушу на дым!..

Приказал обоих расказнить и ускакал прочь на кобыле своей, быстроты дивной.

Пленников выволокли из ямы.

Пастух Садык плетью, усаженной конскими зубами, оббил с Мулгаймясо по кускам, и тот умер. Куземку Злычого терзали, пока он не перестал стонать. Бабы шагали через мертвых, чтобы опоганить. Потом привязали одного к одному дереву, другого – к другому, безголового Фоку Волкореза прислонили к стене и пускали в них стрелы, пока не надоело, – все трое стали похожи на

ощетинившихся кабанов.

Кучум с мурзами и князьями объезжал станы, принимал от народов присягу. Самоеды в знак своей покорности целовали щучий нос и медвежьё морду.

Вогулы шертовали на дружбу по своему обычаю – нюхали конец пики, лизали лёзо меча, окропленного кровью жертвенного оленя.

Табаринские хлебопашцы клялись с комом земли в руках.

Князь Тулай тоже обещал лиха на хана сибирского не мыслить и стоять в бою до крови и до смертного посечения да по своим преданиям пил воду с золота. [133/134]

Остяки присягали на верность перед медвежьей шкурой, на которой были скрещены топор, нож и стрела. Вождь, а заодно с ним и все воины разногососили, повторяя за толмачом слова клятвы:

– Пусть растерзает меня медведь, пусть подавлюсь первым куском мяса, пусть топор отрубит мне голову, пусть зарежет меня сонного этот нож, пусть стрела, пущенная мною, возвратится и вопьется мне в глаз, если я не сдержу клятвы...

В степи взмыла пыль, со степи к городу наметом летела сотня Маметкула. Уланы играли копьями, на скаку подбрасывая и ловя их, да крутили перед собою шашками столь быстро, что за потоком сверкающей стали, как за щитом, лиц не было видно.

– Казаки близко!

– Война, война!..

– Велик бог!

В юртах и чумах жены прощались с мужьями, матери с сыновьями, – тихий плач и шепот.

Сплыли казаки с Тобола, навстречу им быстрый Иртыш повыкатил. Драл понизовый ознобный ветер, ветер топтал волну, слепая волна хлестала в глинистый берег. Где-то уже взыгрывали первые метели, – вивась летели редкие снежинки, колочая крупа засекала глаз. Косматые – в густом инее – качались вершины сосен и кедров, выла и стонала седая тайга. По кроме лесных кряжей немое плыло солнце. По ночам берега обмерзали, морозом рвало и корежило струги, порою доводилось вырубать струги изо льда топорами.

На мысу, что вылег на схлестке Тобола с Иртышом, ватага стала на привал. Голодные и хмурые грелись у костров, негромко переговаривались, озираясь с опаскою.

– В беде сидим, бедой кутим.

– Держали замах большой, да вот оно – рылом в землю.

– Стужа, ветер... Ветер нос на сторону воротит... Пришли и зиму за собой привели.

– Не журись, братья, завтра бой... Ударим – и Сибирь наша, или с коня и прямо в рай.

– Ждут нас с тобой, односум, в раю на самом краю, где черти горшки обжигают.

– И то дело не худое, хоть погреемся... Так ли, товариство?

– Ужо ордынцы зададут тебе жару, враз нагреешься.

– Ништо, бог милостив.

– Удалой перед смертью не пятится, а иной и рад бы упятиться, да некуда.

– Задавит нас орда многой силой своей. Назвал, слышно, Кучум народов великое урево, а нас и семи полных сотен не осталось. [134/135]

Приумолкли, понасупились.

– Не журись, братья, в сечи не всем лечи... А вот, – говорок метнул глазом туда-сюда, – коли кто станет далеко язык выпускать, не избыть тому беды.

- Ведаем.
- Поперечников атаман бьет без промаха... Не забыли Забалуя, Костыгу, Мишку Козла?
- Забалуя он добре секанул, аж шапка локтя на три кверху подлетела.
- Ништо! С седых веков ни единая казацкая слеза в пусто не канула. Попомним атаману кровь Забалуя, Игреньки, черкаса Полухана и иных.
- Попомним!
- Не рука нам, ребятушки, в походе раздор чинить. Стонем, ропщем да тем ропотом гневим и бога и атамана.
- Мы, деда Саркел, так... До поры наши головы и послушны и поклонны. Кто-то вздохнул, кто-то крякнул.
- Одним грехом, как цепью, сковал нас черт... Было б нам подобру-поздорову на Волгу скатиться...
- А на Дону-то, братцы, ныне благодать!
- Побереги, Афонька, голову. Помалкивай.
- Молчу.
- Мы с тобой давно у атамана как порох в глазу. Услышит - враз ломает тебя, дурака.
- Молчу.
- Заутра бой... И не хотелось петушку на пир идти, да за хохолок потащат.
- Ой, темна ты, могила, во чужой земле...

Приумолкли усачи, приуныли смелачи.
А Ярмак с вожем Ядулкой, забравшись на вершину самой высокой сосны, оглядывали просторы заиртышья. Мотались на ветру прибрежные талы. По угорьям разбежался лес мелкой, сумрачен и дик. Далее расстилалась рыжая степь с плешинами наметенного там и сям снега. Волновались, вскипали под ветром озёра. Далеко по заиртышью двигались в тучах пыли то ли табуны, то ли конные лавы сибирцев.

Закусив конец перевитого первой сединою уса, Ярмак бормотал:

- Сибирь... Орда... Выноси, угодники!
Зоркие глаза степняка Ядулки рыскали по далям, показывал вверх по реке:
- Во-о-о-он Кучумовы юрты и сакли... Водю до города день ходу, конями того меньше... На полдороге живет городок Атик-мурзы, близко за городком стоит Чувашиева гора, а за Чувашиевым мысом в трех поприщах - Искер.
- Берега каковы? - спросил атаман.
- Местом берега голы, местом лесисты.
- Острова и наволоки есть?
- Два острова. Один о бок с городком мурзы, другой пониже Чувашиева мыса.

Ярмак еще раз внимательно оглядел стремя реки, речные завороты и крикнул вниз:

- Поплыли! Мещеряку с сотнею идти передом, усторожливо... По сторонам глядеть остренько.

Караванный, задрав голову, выслушал атамана и опрометью побежал по стану, взметая песок подолом собольей шубы.

- Поплыли!.. Не мешкать там у огней, уху хлебать в лодках на плаву... Сотне Мещеряка идти головною, по сторонам глядеть во все глаза...

Затомошились старшины и есаулы:

- Поплыли, братцы, поплыли!
Казаки разбирались по ватагам, ссывывали лодки на воду и тоже озорно орали:

- Поплыли!
- Водопёх, толкайся!
- Ладь круки в гнезда!

Из кустов вылетел с ремненным поясом в зубах Мещеряк-атаман и, на бегу застегивая меховые штаны, устремился к своей сотне:

– Поплыли!.. Разбирай паруса, крепи парусные подтяги!.. Кормчие, на весла. Пушкири, заправляй пушки картечью!

Полетели струги, подхваченные попутным ветром, запенили простор реки лопастями навесных кормил.

Проплыли плес, другой.

За мыском вдруг открылся городок Атик-мурзы: убогие с плоскими крышами мазанки, крытые лубьем землянки, войлочные юрты.

Мещеряк, что умотал с сотнею вперед, взял тот городок с удара да скоро выбежал на яр встречать дружину. Махал Мещеряк с яру шапкою и орал:

– Жители порезаны, город взят порожний!.. Держи к берегу без опаски!

Тут и заночевали.

Ярмак прихватил с собой есаула Осташку Лаврентьева и отправился с ним на развед под Чувашиеву гору.

По-осеннему стремительно густели сумерки.

Атаман рассматривал берег, примечал места, способные для пищального боя и высадки. В темноте подлезли под самую гору и залегли. Доносило еле слышные голоса, разноладный лай псов, мотались на ветру огни многих костров. Совсем близко, по насыпи земляного вала, шатались дозорные в островерхих шапках.

Раздувая ноздри на волнующие запахи жареного мяса, Ярмак дохнул есаулу в ухо: [136/137]

– Чуешь?

– Угу.

– Баранина...

– Угу...

Атаман глотнул голодную слюну, лякнул зубами и прошептал:

– Языка мне добудь.

– Добре.

– Живой ногой.

– Я скоро!.. Господи, благослови, – перекрестился Осташка и, ослабив в ножнах шашку, осторожно пополз в густую темень.

Ночь, глухо.

Сморенный усталостью Ярмак задремал... Есаул тронул его за плечо:

– Атаман!

Ярмак схватился за пистолет.

– Атаман, пора и к стану. Языка словил. – На тонком сыромятном ремешке, захлещнута под горлом петлю, есаул держал татарина и, слегка подкалывая его острием шашки, шипел: – Пикни – развалю надвое!

На казачьем стану было тихо, хотя почти никто и не спал. Сидели и лежали в стругах, кутаясь в меха и дерюжину. Во тьме простуженно бубнили голоса; кто-то однозвучно, в треть голоса тянул заунывную песенку. У огней, опираясь на пищали и рогатины, дремали караульные.

На допросе оробевший татарин кланялся обступившим его бородачам и приговаривал:

– Ум мой мешался, память кунчался, сапсем нисява не знаю...

– Ну, нам с тобой квас квасить некогда, – сказал Ярмак и велел позвать охочего к кровяному делу сотника Черкиза.

С бою да с пытки язык поведал все по ряду: об укреплении и подступах к Чувашиевой горе, о воинских хитростях и нравах народов, воюющих за Кучума.

После того Ярмак созвал к себе в шатер атаманов, есаулов, стариков и всю ночь с ними совещался, а чуть забрезжил свет – вышел атаман к казакам.

Проиграла серебряная есаульская труба, дружина сошлась к шатру атамана.

Слово Ярмака:

– Слушай, братья, и на ус мотай! Брели мы лесами, брели горами, плыли многими реками и речками. Слышу стоны малодушных – устали-де, ноги под нами подгибаются, руки не поднимают весла и пищали, глаза не глядят, и языки от усталости и голода не ворочаются... Ходил я с вечера с есаулом Лаврентьевым в подгляд к татарским станам. Баранину, псы, варят и жарят. Мыслию, коли

грянем на ордынцев дружно, так не минет та баранина наших зубов. Собьем орду с горы, выкурим из покоища [137/138] змеиноного и погоним к городу да с маху подыдем на мечи и город тот. Там перезимуем и дух переведем, в тепле да в сытости, а весной, – что бог даст. Вспомним, братцы, все пакости и лютые скорби, что приняты нами от тех злохитрых и окаянных волков басурманской веры. Вспомним...

– Город не миновать брать, – махнул голицею Никита Пан, – река не нынче-завтра встанет и куда же нам тогда свои головы приклонить? Город Кучумов близок, ура и – вперед! Так ли, товариство?

Голосов блеск:

– Так, так...

– Грянем.

– Шатанём сатану.

– Вчера кишки пусты, нынче кишки пусты, да лучше – головой в кусты!

Ярмак послушал голоса и опять заговорил:

– Лады струги к бою немедля. Рассаживайся просторнее, чтоб друг другу не мешать. Стругам в кучу не сбиваться. Держать струги косяком. Не забывай: пищальный бой ведем с правого борта, а пушечный с носу. Мыслью: засядет сила Кучума под прикрытие засеки да оттоль станет метать в нас стрелы и копья. Навалом нам басурман не взять, пустимся на хитрость: дабы выманить неприятелей наших на чистое место, дадим изо всех пищалей и пушек по одному холостому выстрелу, а конные пускай заварят под засекой свалку и пустятся в притворное бегство. Старшинам и есаулам доглядеть, все ли укреплены по бортам упорные сохи для наводки пищалей. У каждой пушки быть троим пушкарям. Храни сухою пороховую полку и фитиль. Заряд давать полный, пороху и жеребьев не жалеть. Может статься, бросятся на нас кои народы на челнах, – багры держи наготове, челны кувьркай, топи орду нещадно, полону из огня не брать. Полусотню Богдана Брызги сажаю на коней, – будет в стругах просторнее. Конной полусотне идти по бровке берега и вперед без моего слова не соваться, дабы не попасть под свой огонь. Весельникам махать веслами вполсилы, да не выдохнуться раньше срока. Кормчим глядеть в оба: не посадите мне, сукины сыны, стругов на мель, как то учинили под Тюменью, – разорву по клоку! Заплывай к горе с носка, берег там чист и спрятаться ордынцам от нашего огня некуда, а коли красный выдастся денек, то и солнце станет нам за спину, а сибирцам будет бить в глаза. Стреляй не кряду, а через ружье. Покажет дело выйти из стругов на берег – выйдем. На берегу не рассыпайся и от воды без нужды далеко не отходи. Держись в пешем бою кучками человек по десяти: стой кругом, зад к заду, как кабаны, когда на них наскокивают волки. Пушкарей Самойлика и Худяка беру на свою каторгу. Атаманам, есаулам, сотникам и полусотникам быть при своих ватагах неотлучно, биться примерно – волос не жалеть! Помни, бежать нам некуда и не с чем... [138/139] Ну, а коли сломят нас поганые и задавят силой своею – живыми в руки не давайся и славы казачьей не рони... Молись, братцы, и – с богом!

Дружная закипела работа: кто принялся вычерпывать из струга воду, кто прочищал от порохового нагара запал, ввертывали в пистолы новые кремни, точили шашки и ножи, рубили свинец. Есаулы подсчитывали и разводили по стругам людей, раздавали запасное оружие, досыпали кожаные гаманки порохом. Каждый получил по последней горсти плесневелых толченых сухарей и по ложке горячего пареного овса в полу кафтана. Одни бежали к попу исповедоваться, другие – к колдуну заговариваться, а иной, по простоте сердца, приставив к пеньку складную икону, стучал в землю лбом и приговаривал: "Пресвятая пречистая богоматерь и вы, угодники, напустите на меня смелость, не велите лечь костями в проклятой басурманской стороне". Багровое подымалось над тайгою солнце, налетный ветришка взвихривал по гладкой воде ершей, на стрежне разгуливалась волна...

Лихой пушкарь Мирошка ворчал, взирая хмуро на свинцовую волну:

– Будет стругам колтыханье. Как тут некрещеного выцелить да стрелить?

Слезы!..

Разобрались по стругам.

Застучали раскидываемые по гнездам весла.

Ярмака клич:

– Яртаульные, пошел на взлёт!

Главным побежал яртаульный челн, за ним – атаманова каторга с медной пушкой на носу, а за каторгой, раскачиваясь на крутой волне, ухлестывали в двух сотнях струги и стружки, насады и будары, лодки плавные и лодки кладные.

По каравану перелетывал разбойный посвист и заказное словцо:

– Ша-ри-ла-а-а...

Плыли.

Берегом пылила конная полусотня Брязги, прикрывая дружину от внезапного нападения.

По венцу Чувашиевой горы мотались одиночные всадники. Да еще доносилось коней татарских ржание и надсадный лай псов.

Плыли.

– Ша-ри-ла-а-а-а!...

С яртаульного челна зык:

– Орда-а-а!..

Степь – насколько глаза хватало – была залита войском сибирским. Двигались толпы пеших, заткнув для ловкости за пояс полы наваченных халатов и овчинных полусубков. Ехали на арбах, верхами на оленях и верблюдах. Скакали, джигитуя, конные уланы. Под солнцем вспыхивали концы копий и чешуя [139/140] панцирей. Главные силы кучились под Чувашиевой горой, опоясанной понизу насыпным валом и засекою.

Сибирцы, утвердившись на своих местах, стали высылать навстречу казакам задирищиков, кои на быстрых конях подлетали совсем близко и, выметав стрелы, гнали обратно.

Казаки из полусотни Брязги вступали с теми охотниками в словесную брань да мало-помалу от слов переходили к делу, размениваясь за стрелу пистольной пулею, а кое-где уже начали заигрывать и врукопашную, сшибаясь шашками.

На бойком иноходце прямо на казаков неся пастух Садык и, воздев над собой пустые руки, озорно кричал:

– Моя твоя!.. Атма, казак, кынама! (Не стреляй, не бей меня.)

"Сдается", – сообразил Брязга и, отделившись от полусотни, наметом припустился навстречу татарину. – Кая барасом? – окликнул он и потянул из ножен шашку.

– Моя твоя, казак, йеее! – дурашливо завизжал Садык и, сорвав с луки седельной да развернувшись, метнул аркан

миг

и он скакал прочь, волоча за собою на туго натянувшемся аркане казачьего атамана. Тот царапался за кочки, за кусты, но удержаться не мог.

Полусотня бросилась на выручку своего ватажка.

А с горы, потрясая копьями и топорами, стремительно стекали густые толпы воинов Кучума.

– Шарила-а-а!.. Клади весла, молись богу!

Торопливо покрестились.

Ярмак пушкарям:

– Трави запал!

Пушкарь Мирошка размотал просаленную тряпку с гузна пушки и запалил смоляной фитиль. Медная пушечья пасть рявкнула и оторгнула пук огня, каторгу качнуло, а по-Мирошкиному и другие сделали, – караван окутался сизым пороховым дымом.

Меж тем Брязга схватился за аркан, подтянулся сколько мог да, изжевав витую из конского волоса веревку, оторвался.

– Назад! Назад! – призывал Ярмак конных, но те уже сшиблись с

неприятелями, и – пошла потеха.

Струги с тяжелыми, ломовыми пушками погреблись в обход горы, а иные струги повернули было к берегу, но скоро засели на мель.

Ярмак, матерясь, шагнул через борт в ледяную воду, а по его и другие полезли – где по колено, а где и по пояс. Скоро дружина с развевающимися хоругвями вышла на берег.

– Пищальники!

Вооруженные пищальями выбежали к атаману.

– Стреляй не залпами, а через ружье.

Построившись клином, пищальники не спеша двинулись [140/141] вперед, на ходу стреляя через ружье: одни стреляли, другие в это время заряжали.

За пищальниками развернулись сотни с пистольным, сабельным и лучным боем.

Под засекой казаки были встречены тучею стрел, градом камней и метательных копий.

Дрогнули

попятились.

А сибирцы, сметав, что казаки в малой силе, разломали в нескольких местах засеку и сами пошли на вылазку, да из лесу выскочил затаившийся там с отборной конницей Маметкул; а за ним, развертываясь в лаву, летела волчья сотня улан Бейтерека Чемлемиша: уланы крутили над головами шашками, рукояти которых были полы, и при размахивании издавали волчий вой, нагоняя тем страх на своих и на вражеских коней.

Молодой молодого пикой вышиб из седла. Чья-то голова покатила под яр. Бегущий и вопящий запутался ногами в своих кишках и упал. Из чьего-то горла кровь брызнула выше лошадиных голов. Вогул ударил Афоньку Лыча копьем в бок и выдернул копье с почкою на конце. Афонька со стоном повалился и обнял землю. Дед Саркел рубанул васюганского шайтанщика шашкой по голове и после рассказывал, будто из того пламя пыхнуло и смрад изошел. Сотник Черкиз, зажимая левой рукою выжженные глаза и шатаясь, шел прочь от места битвы; в правой руке он всё еще сжимал рукоять расколотой шашки; иссеченная в куски кольчуга, держась лишь на одной ременной перевязи. спадала и волочилась за ним по земле; изрубленные плечи и грудь его были обнажены. Мурза Кутук Енарасланов сверзился с коня, пробитая свинцовым жеребьем голова его запрокинулась, выпучил глаза – и дух вон. Заруба дал таежному богатырю кровавую рану, да и самого повалили и начали рвать собаки. Охотник Ях всадил в казачью грудь нож совсем, с череном, да и сам присел – пуля обожгла коленку, выдернул из головы прядь жестких волос и перетянул простреленную ногу. Кони топтали людей, взвивались кони на дыбы, сшибались грудью и грызли друг друга. Спешенный Маметкул, засучив правый рукав бешмета по локоть и работая шашкой, шел среди русских, как бы купаясь в волнах.

Стук и лом копейный

блеск и звяк клинка

гул, вой, брань

с обрыва падали в реку, стремительные воды Иртыша смешивали кровь врагов. Вдруг в тылу горы заржали ломовые пушки, картечь хлеснула по густым рядам сибирцев.

Ярмак, что уже чертом носился по полю на татарском скакуне, приподнялся в стременах и, грозя окровавленной шашкою, закричал дурным матом: [141/141]

– Пошел на слом!

И казаки, покрывая голосами своими шум битвы, закричали.

– На слом!.. На слом!

Да кинулись

в атаку.

В тылу горы ржали ломовые пушки, картечь косила ряды сибирцев.

– Ура-а...

– Вра-а-а-а...

– Шарила.

По каменистому открытому склону горы заметались и застонали народы, охваченные отчаянием. Побежали с воем и стенанием оробевшие, увлекая за собой отважных.

Хлынули прочь идоломольцы Васюганских болот, потяпав с досады топорами своего болвана, который оказался бессильным перед русскими богами.

Резвые олени, гремя полозьями нарт по мерзлым кочкам, помчали прах своих хозяев в тайгу, к погребальным кострам.

Бежали самоеды.

Бежали князья остяцкие со своими народами. Остячки схватили одного из своих князцов и с криками: "Отдай нам наших мужей. Отдай нам наших сыновей", – начали на князца плевать, одежды на нем драть и оленьими говьяхами глаза ему замазывать.

Уланы еле успели уплавить за Иртыш Маметкула, наскоро залив его кровоточащие раны растопленной пихтовой смолкой.

Снимались становища степных кочевников.

Храбрые таежники, что убивали медведя один на один, разбегались в страхе, точно белки от пожара.

Бежал тайгою, прихрамывая и опираясь на копье, охотник Ях. В битве погиб сын его Мулейка и потерялась жена Алга, – плакала по ним душа. За ним брел, волоча хвост по земле, старый кобель Наян.

Преследуемые разящим огнем пушканов, бежали вогулы.

Бежали алтайцы и барабинцы, чатские татары и сургутские остяки, побежали и все иные, кто побегать успел. За ними, как дым пожарища, стлалась вздыбленная пыль, скрип и грохот арб, и коней ржанье, и отчаянья вопли многие. А вдогонку им пушки всё еще сыпали свинцовый горох, озорно и устрашающе гаркали казаки, победно выли есаульские трубы.

Казаки засеку разметали и хоругви с ликами Христа и богородицы на горе Чувашиевой утвердили.

Скоро к немалой своей радости услышали казаки, что Кучум с мурзами и ахунами бежал на конях в степи и город оставил пуст.

С осторожностью, опасаясь подвоха, вступили завоеватели в город, раздували оставленные татарами в спешке богатства, отслужили молебен и стали там жить. [142/143]

36

Жили-были...

37

Неслышной поступью, на мягких лапах шла зима. Смирён лежал Иртыш во льды закован, снегами повит. Над воротами и на углах крепостной стены поставили казаки пушки, цепями их приковав, чтоб татары какой-либо хитростью пушек тех не уворовали; углубили вокруг города рвы; нарыли под стеною волчьих ям, забросав их дрязгом и затрусив снегом.

Над темными лесами молодой месяц шел дозором. На башнях перекликались караульные, в морозной тишине звонки и чисты были их голоса.

Казаки гуляли.

Пьяные, хохочущие катались с горы на розвальнях, в обнимку шлялись улицей и гаркали свои волжские и донские песни.

Съезжая изба ходенём ходила.

Мещеряк, распушив бороду, шел по кругу и, как стоялый жеребец копытом, стучал в земляной пол кованым сапогом:

Пошел козел в огород,
По-о-ошел козел в огород,
Потоптал лук, чеснок...

В пару с ним Ерошка плясал по-цыгански – в три ноги. Сверкали зубы, глаза, серьга в ухе, разлетались подрубленные в кружок русые волосы.

Потоптал лук, чеснок.
Чигирики

чок
чигири!

Зубарики

зубы
зубари!

Жена мужу бай говори.

Ех

ех

ех!..

Комарики

мухи

комары...

Кованым сапогом выбил Ерошка яму в земляном полу и, задыхаясь, свалился в ту яму.

Хмельные крики, бешеный хохот:

– Твой верх, Ерошка!

– Твоя победка!

– Остынь, упарился.

Плескали на победителя вино ковшами. [143/144]

Ярмак молча сидел в переднем углу и крутил перевитый первой сединою ус. Чадили светильные плоски с жиром, в оконных прорубах зеленели плахи льдин.

Вошел караульный голова Тимоха Догоняй и крикнул от порога:

– Какие-то приехали, поклонных соболей привезли. Пускать ли?

– Где они? – спросил атаман.

– У городских ворот дожидают.

– Зови давай!

С реки Немнянки – казаки окрестили ее Демьянкой – пришел с подарками старый остяцкий князь Бояр. Заодно с ним из-за Яскалбинских болот пришел вогульский князь Ишбердей, и с реки Суклемы князец Суклем пригнал большой обоз со съестными припасами. Пришли с покором да с богатой данью старшины прииртышских татар, что от страху жилища свои покинули и с семьями удалились было в недолазные места.

Казаки были выстроены по улице в два ряда. Атаманы, чтобы грознее показаться, вышли встречать перемётов, облачась во всю воинскую сбрую. Караульный голова вел князцов и старшин к съезжей избе, казаки палили из пищалей. Сибирцы от испуга падали ниц, ползли, поднимались и, оглушенные громом пушканов, опять падали.

Оробевшие сибирцы, растерянно улыбаясь и кланяясь, проходили в избу, рассаживались по лавкам, стараясь по привычке занять как можно меньше места.

Были вызваны толмачи вогульского и остяцкого языка. Разговаривать по-татарски казаки и сами знали.

Перелёты здоровали Ярмака на сибирском царстве и наперебой делились вестями:

– Кучум живет в Ишимских степях в юртах у князя Елыгая... Совсем дряхл стал, отпаивают его кровью козлят.

– Говорит Кучум: лучше быть пастухом у своего народа, чем султаном у чужого.

– Нарымцы бедуют, голодом поморили собак и сами которые кончаются...

– У барабинцев буран угнал в Бухару табун коней в десять тысяч голов.

– На зимнем торгу в Тюмени шаман Алейка подбросил шапку, она обратилась в сороку и улетела. Не знает ли русский поп, к чему бы такое?

– Мурза Бабасан женился на дочери князя Каскара. На свадьбе перед всеми гостями Бабасан похвалялся: "Пошлю-де по весне Ярмаку дань – сто вьючных верблюдов – в каждом вьюке кошомном спрячу по четыре воина. Пустят казаки караван в город, мои люди из вьюков выскочат и всех порежут".

– Князец Самар ездил недавно в гости в Туртасское городище и дорогою на всех станках хвастался: "С немногими-де [144/145] воинами приеду в Искер торговать, заночую, ночью-де зажгу базарные лавки, а тут и орда моя к городу подступит". И много еще чего порассказали переметы.

– А ты чего молчишь? – обратился Ярмак к старому князю Бояру.

Тот ответил:

– Храбрый царь храбрых казаков, бог дал нам два уха, два глаза и один язык, чтобы мы больше слушали и смотрели, а говорили бы меньше.

Ярмак усмехнулся и погрозил ему:

– Хитри, хитроньр, да не перехитри... Я скор на руку. Бояр понял слова атамана как похвалу своей хитрости и осклабился.

А Ишбердей держал в вытянутых руках казачью пищаль и дрожал, ровно таловый куст.

– Не бойся, – ободряли его казаки, – у ней зубов нет, не укусит.

– Не боюсь.

– А чего трясешься?

– То из меня старый страх выходит.

Рассмеялись смеяри, покатались хахахи.

Ишбердей хотел заглянуть в норку дула, чтоб увидеть притаившуюся там смерть, но на это у него не хватило решимости. Отдал пищаль и вздохнул.

– Встречу русский след на дороге – не ступлю на след, обойду далеко стороною.

Князь Суклем, опьянев от одного ковша горячей араки, валялся у порога и плакал:

– Руки мои расплелись, ноги как вода... Сплю... Со всех сторон сплю... Придет весна – люди покочуют на протоки и в озера за рыбой и птицей, а я буду спать пьяный, пьяный...

Заржали ржуны, подхватили смеюны:

– Пей, до весны проспийся.

Вот – приблизительно, разумеется, – уставная речь Ярмака:

– Большая наша забота – басурманов довоевать: упорных и дерзких отогнать подальше, смирных всяко настрашать, а потом ласку свою оказать да к шерти привести, чтоб быть им под русской рукою вовеки, пока изволит бог земле Сибирской стоять, и чтобы ясак нам давали из года в год беспереводно... Пельмцы нам ясака не дают и других к тому злу зовут... Гони, Никита, – обратился атаман к Пану, – на Пельм-реку, промышляй против князца Аблая. Ухитрись приманить Аблая да сына его старшего Тагая, да племянников и внучат и лучших людей его, которые самые ерепенистые, а приманив – убей. Именье его – соболей и лисиц черных ко мне вези, а белку, лис красных и оленьи выпорки раздувань меж своими казаками. Черным же людям мою милость скажи, приласкай и вели ясак платить сполна, да скажи, чтоб жили по-прежнему, по старине в своих [145/146] юртах. Старшин подарками одари, какими будет пригоже. Кто воровал – князь и подручники его, – над теми по тому и стало, а на простых людей моей грозы нет и впредь не будет, коли они из послушанья не выйдут. Где город попадетса крепкий – разорь и жги, чтобы жили народы перед нами открыто.

– Гонял я на Пельм-реку, – угрюмо глянул на атамана Никита Пан и почесал лупленный, обмороженный нос, – сила не берет, ватага у меня малая.

– Еще стоняй... А коли скоро улусов князца Аблая мне не повожешь, то велю тебе с твоими людьми увоевать еще и Кайларскую волость, да вам же от меня быть в немилости. Своим казакам скажи, чтоб в поход выступали безо всякого послушанья, не мешкая ни часу, да своим бы непослушаньем сами на себя моего гнева не воздвигали. За вожа пошлю с вами вот этого молчальника, – ткнул

атаман в храпавшего на лавке Бояра. – Коли почнет лукавить и душой кривить – секи на месте, да не осколзнет твоя шашка на его седой голове.

– Добре, атаман.

– А еще – город думаю крепить. Стены от ветхости понизу огнили, порасшатались, башни надо новые возводить... Приищи ты мне, Никита, плотников среди пельмцев. Присылай в город с трех луков по человеку, с топорами и своим харчом. Коли опять вернешься с таким – на берег из струга помочиться не выпущу и опять к пельмцам погоню.

Никита Пан крикнул, нахлобучил волчью шапку и пошел из съезжей избы вон.

– Другая наша забота, – продолжал Ярмак, – сытими быть. По Иртышу и на озерах рыбные промысла завести, сушильни и амбары выстроить, погребов нарыть для хранения съестного запаса, сыроварню и пивоварню сделать, на Ямашском озере соляной завод устроить... Ты, Мещеряк, немедля снаряди обоз и скачи до Ельшевских юрт и, приехав туда, пересчитай народ по головам, построй кузницу добрую, вели Якуньке Светозару выковать несколько железных сох и борон. А по весне, как стонит снега, высмотри пашенные места, можно ли пахать и какова земля. Раздай сохи татарам, сними с них ясаки и посади на пашню, чтоб было нам от них во всяк год хлебное пропитание... Пресеки надежду татар на Кучума, да живут под нашей рукою без оглядки... Ведомо мне, что туринцы и барабинцы ведут меж собою частые войны: сильнейшие бессильных утесняют и бессильные сильнейших кусают. Войнам и сварам тем помешки не чини, а сам старайся, где доведется, стравить князька с князьком и мурзу с мурзою: ешь волк волка, а последнего как-нибудь осилим. Искореняй неслухов без остатка и аманатов (заложников) у них бери, пускай выкупают. А которые верны и прямы и ясаки платят исправно, с теми дружбу затверди и всяко приручай, – пускай приходят ко мне в город и про Кучума всякие [146/147] вести сказывают: тех буду поить-кормить, подарки дам, из города отпущу не задерживая, когда похотят...

– Сделаю, атаман, как велишь, – сказал Мещеряк и низко поклонился.

Ярмак заговорил по-татарски, обращаясь к мурзе Сабанак:

– Прибежал вчера в город из твоей волости новокрещеный татарин Данилка и жаловался: "Я-де вашей, русской, веры, получил от попа сапоги и кафтан, а татары меня в свой улус не пускают и грозят убить". Унял бы ты, Сабанак, буянов своих.

– Яраынды. (Ладно.)

– Слышал я, в твоей волости охотники добры и скота много?

– Охотники плохи, скота вовсе мало... Утонуть мне в сухом месте, пусть дохлая ворона выклюет мне глаза, если говорю неправду.

– Пошлю с тобой за ясаком двух казаков. Собери с женатого по кобыле с жеребенком, да по четыре барана, да по десятку соболей, а с холостого – вполы.

– Зверя противу прежнего стало меньше, – вздохнул Сабанак, – и рыбы меньше, и скота убавилось. С трудом собрал то, что собрал и на твой двор привез, многие мои люди, побиты, атаман, а иные сами померли. Коли вру – не встать мне с этой лавки.

– За прошлый год жители твоей волости недодали Кучуму шесть сороков соболей, да под десять тысяч шкурок белчих, песцовых, бобровых и лисиц шубных. Того недодобранного ясаку тянуть с вас не стану, а за нынешнее платите сполна.

До крайности удивленный всезнайством Ярмака, мурза забормотал растерянно:

– Драл с нас Кучум-хан ясак и за старых, и за увечных, и за мертвых. Соболей бирывал с пупками и хвостами, лисиц с передними лапами, а мы те пупки, хвосты и лапы продаем торговым людям да с того сыты бываем... Коли ни во что ставишь мои слова, атаман, – рви мое дыхание.

Ярмак зачерпнул полную чашу пьяной араки и подал татарину:

– Пей... Служи мне и прями, за то и я тебя и всех твоих близких родичей от ясака освобожу. Корми моих казаков, что пошлю с тобой за сбором ясака, корми и береги, за то и я тебя беречь буду. А коли какую зацепку учинишь, или обидишь чем, или ясаку не соберешь сполна – и тебе, Сабанак, зло сотворю: пошлю на землю твою огонь да востру саблю гулять... В обратный путь посылай с казаками провожалщиков от стойбища к стойбищу, от стана к стану и от людей до людей.

– Ярарынды, атаман. Мое ухо, как капкан, что в него попадет, то не вырвется.

Ярмак взглянул на Ивана Кольцо и снова заговорил:

– Ты, Иванушка, по первой воде плыви на Конду-реку, народы тамошние под свою шашку преклони и данью обяжи... [147/148]

– Как велишь собирать батюшка? С души, с дыму или с лука?

– Собирай, как тебе рассудится, чтоб суме казачьей не было убыли, а земле бы тамошней тяжести не навесь и людей ясных от нас не отогнать бы. Себе бери, да и жителям оставляй, чтоб с голоду не помирали. Князь Ишбердей жалуется на тебя. Ты-де с казаками напал на Большую Конду, юрты вогульские распустошил, людей-де много у них побил до смерти да жен и дочерей ихних понасилиничали. Тогда же вы утащили у него два венчика серебряных, завитцо золотое, цепочки золотые, чарку золоченую, полтыщи соболей и много бобров и лис чернобурых. А он-де ныне сам живет, по лесам бегаючи... От сего дня велю тебе, Иван, от зла и дурна удерживаться и брать ясак где жесточью, а где и ласкою.

– Ласкою невозможно, чтоб без недобору, – буркнул Кольцо и покосился на таравившего глаза, захмелевшего Ишбердея, – не люди, а чистая скотина. Шляются, как шальные, с места на место, с реки на реку, с зимовья на зимовье, не същешь ни одного и ясака не возьмешь. Под Кандырбаем на жирах (станах), где они живали, ныне их уже нет. Люди кочевые, а не сидячие: где похотят, там и живут. А за Кондой, на болотах народ вовсе дикой: привезли ясак, пометали соболей и лис на реке на лед и откочевали. Нашелся из них один храбрый да и тот побоялся к нам в избу зайти – связки рухляди подавал нам в окно на шесте, и мы, чтоб не спугнуть его, из избы не вышли, и в окно ему отдарки пометали.

– Ласковое слово кости ломит, – повторил Ярмак. – Назови с собой двадцать казаков, которые были бы расторопны и не воры. Попа Семена прихвати, а то зажирел, бес, и глаз не видать. Вогулов и остяков крести, учи молитвам и в служилые люди верстай и жалованье сули да подарками одари. Скажи князьям и

мурзам, чтоб переходили в нашу веру и коли похотят – пусть едут ко мне служить.

– Волков на собак в службу звать, – буркнул кто-то из угла.

– Еще наша забота, – продолжал Ярмак, – зелейный промысел завести, чтоб с порохом быть нам во все дни. Покличь, Мамыка, мастеров зелейного дела среди своих зипунников. Якуна Зуболомича за бока возьми: шатался он по многим царствам и должен то дело знать. А там, коли всемогий, в троице славимый бог поможет нам устроиться, зазывал на Дон и Волгу пошлем, пускай приходят с Руси в Сибирь жить и кормиться сбродники, сироты и голюшки понизовые... Немалое дело – соседей своих вызнать допряма и торговлишку прибыльную с ними завести. Свинец и серебро, чугуны и котлы, сукна и булаты – всего наменяем на рухлядь вдоволь. Настрочи-ка, Петрой Петрович, зазывную грамоту бухарским и хивинским купцам. Весна-де близка, приезжайте без опаски и торгуйте беспошлинно... А ты, Брязга, по первой воде плыви в низовья Иртыша и [148/149] на Обь-реку, да, смотря по тамошнему делу, на месте усторожливом городок сострой, откуда бы было способно следить за тамошнею торговлею и за приезжими купцами, и самоедам чтоб острашка была, а то живут они в удалении и руки нашей над собой не чуют. У купцов, кои приходят с Руси без пошлинных грамот, товаришки отнимай, а у коих грамоты есть, с тех выжимай сбор явочный, сбор поголовный, сбор амбарный да отъезжую деньгу.

Татарским мурзам и старшинам на прощанье Ярмак сказал:

– Возвращайтесь в юрты свои и живите, как и прежде жили. Мне ясак платите и меня слушайте. Зла на русских не примысливайте и не делайте зла. За честь мою против всех недругов стойте крепко, а которые из вас похотят идти в православную веру – приму с радостью и от ясака на пять годов освобожу.

Князьям остяцким и вогульским на прощанье Ярмак сказал:

– И вы зла на русских не примысливайте и не творите некоторого лиха. Соберитесь в вольные ватаги да идите в глубь тундры и болот воевать непокорных. Бейте упрямец без остатка, а жен их, детей и богатства себе возьмите и разделите меж своими народами. Служите мне и прямите, того завоеванного добра отнимать у вас не буду, а еще своего додам. Живите каждый на своем месте по своей воле, ясак верстайте смотря по людям, по животам и по промыслам...

Подарки атаман принял и всех перелетов, для приуки и прикорму, отдарками отдарил, – прядки цветного бисера и оловянные перстни, огниво и удила конские, гребни медные и по отрезу сукнишка, по мешку пшена дал, – всех отпустил подобру-поздорову.

Степью, тундрой и тайгою скакали казаки на конях, гоняли на собаках и оленях, плавали реками и нигде не жили подолгу да скоро и сами во многом уподобились сибирцам: отвыкли от бани, в нужде ели падаль и кислую рыбу, пойманного зверя делили со псом, сыты были с ясака, ружья и сети.

Ни в какие работы казаки не вступали. Работали на них согнанные из разных мест народы: лес возили, крыли амбары и сушильни, траву косили, корчевали пни, расчищая место под пашню, тюрму состроили и тыном обнесли, вешили

степные дороги, через грязные места мосты мостили, по таежным тропам затесывали на деревьях путевые знаки. За городом дымились ямы гончаров и смолокуров. На протоке новая мельница ржала, как кобыла. На берегу лодкари строили лодки, бабы пластали и ветрили рыбу, подростки плели из конского волоса сети. Русский надглядчик, покуривая трубку, расхаживал [149/150] меж народов с плетью. От тех работ за одну лишь весну больше ста человек пустилось в бега, несколько истаяло с голоду, шестеро удавились.

Комариная орда держала город в осаде. По улицам и дворам курились гнилушки, навоз, сосновые шишки. В избах и землянках – под нарами – дымилось едкое курево. Человек, конь, собака и всякая животина, спасаясь от гнуса, лезли в дым и огонь. Горела тайга, пятная по ночам небо бликами далекого зарева. Гарью и гнилым туманом тянуло с болот. Казаков бил кашель, гнула и ломала лихорадка.

Поп Семен мрачный ходил по избам.

– Дело неспроста. Напущен на нас бесовский недуг. Новокрещеный татарин Иванка, что вчера приходил с красными лисичонками, сказывал: "Ковдинский колдун Алейка ходит-де по юртам, ворожит и в бубен бьет, и шайтанов призывает, и тяжкие болезни на русских напускает, наговаривая на живую муху. На кого-де та заклятая муха сядет, тот почнет кричать и биться и скоро умирает".

– Молись, поп, Миколу-угоднику. Али он, милостивец, с ихними божишками не совладеет?

– Боги у них не сильны, а шайтаны сильны... Много шайтанов, не ведаю, от какого и чураться.

– Усерднее моли угодника. Он, батюшка, должен разобраться.

– День и ночь молю неотступно, шишку на лбу набил... А вы бы, ребятушки, съездил кто на розыски того грехопута... Ныне он, слышно, в табаринских улусах шастает.

Атаман Мещеряк набрал несколько казаков и быстро снарядился в путь. Зашел к попу Семену:

– Благослови, батя, поплыву шайтанщика Алейку промышлять.

– Со господом. – Поп благословил тех доброхотов и стал про дорогу в Табары рассказывать: – Минуешь Медвежий лог и будет тут тебе горелое место, за горелым местом – лес, за лесом – болото, за болотом – вогульский поселок. Ночевать остановись у кривого старика, дочка у него есть, чумазая такая, хохотушка, нос с хрящинкой, ах резва девка!

– А ты, батя, откуда ту девку знаешь? – спросил атаман.

– Так я ж с ней две ночи переспал, когда кондинцев крестить ездил, еще кольцо медное ей подарил. – Он упер руки в боки и залился охальным смехом.

Мещеряк с казаками немало полазил по Табаринским местам, но колдуна того все-таки уловил и на цепи привел в город. Стали его пытать. С пытки Алейка сказал: "Я-де шаманить шаманю, а против ваших богов бессилен. Напустили-де на вас хворь чульмские татары". Ответом тем казаки не удовлетвоались и стали избивать шайтанщика нещадным боем, а поп Семен дал [150/151] ему

понюхать хрен: от омерзения Алейка взвизгнул по-конски и умер.

Иван Кольцо плавал вниз по Иртышу к Рачеву городищу, где обретался главный остяцкий идол Рача. По весне к нему собирались народы и жгли перед ним жертвы. Едва казаки к тому месту приблизились, остяки с лучным и копейным боем к стругам приступили, но казачьим счастьем были отбиты, отбежали в тайгу и болвана с собой уволокли. Проплыл Иван Кольцо Цингальские юрты, Нарьмский городок, где жилища находил, тут всех жителей склонял к шерти и брал с кого чего сколько доведется. Пошарпал Колпуховскую волость, осадил Самарово городище – тут застрелил князца Самара и поставил на его место покорного князца Алачея.

На озере Абалацком ловили казаки рыбу, ночью Маметкул напал на сонных и вырезал двадцать голов. Ярмак, разъярясь сердцем, кинулся с дружиною в погоню за татарами, которых настиг, тех и побил, а Маметкул опять улизнул.

Семибратов и Петрой Петрович повезли в Бухару зазывные грамоты, чтоб приезжали купцы бухарские в Сибирь торговать. В Ишимских степях хан Кучум перехватил посланцев и казнил, грамоты сжег.

Сотник Бусыга погнал на собаках в тундру. В пути на казачий обоз напала орда не виданных дотоле белых волков, которые подушили и растаскали собак, – казаки остались в снежной пустыне пеши. Многие поотмораживали носы, руки и ноги, пока добрались до самоедского становища.

По доносу прикормленного мурзы Басандая казаки скараулили Маметкула на реке Вагае, улан его с утешением побили, а самого пленили и поставили пред грозные очи Ярмака: рыская вокруг города, много тот ханов племянник пакости причинил.

Встреча, можно думать, была такою:

- Попался, который кусался? – спросил атаман, разглядывая храброго.
- Убегу.
- Куда бежать?.. Сибирь стала русской.
- Подьму народы, Сибирь будет моею.
- Народы я примучил, не подьмутся на твой призыв.
- Камень долго мокнет в воде, а вынь камень, ударь о камень – искра будет.

Ярмак усмехнулся и похлопал по граненым стволам пистолета.

Маметкул стал похваляться сибирскими клинками.

– Моя шашка против твоей не солжет, – сказал Ярмак и, подкинув золотую монетку, на лету рассек ее пополам.

Есаул принес пленнику его шашку. Глаза татарина блеснули. Засучив рукав бешмета и подбросив яблоко, на лету разрубил его пополам да, не дав распасться половинкам, успел еще раз секануть: яблоко было рассечено на четыре ровные дольки. [151/152]

Ярмак велел принести волос из конского хвоста. Волосом тем он туго опоясал

гладкую доску да – рубанув сплеча – развалил волос впродоль надвое.

Маметкул взял тот же волос и несколько раз пытался повесить его на лезвие своей шашки: волос распадался, точно от прикосновения к огню.

Вышли из избы во двор, стали испытывать клинки на прочность.

Ярмак рубанул в полсилы – снес быку голову.

Маметкул взял шашку атамана да своей шашкой истрогал ее, как лучину, бросил под ноги атамана рукоятку и, визгнув, одним ударом свалил головы двум стоящим у него под рукой казакам и кинулся бежать. Пуля атамана догнала – татарин повис на кольях изгороди. Вылечили, заковали в железа и отправили в Москву. Там умягчили жестокосердого: Маметкул до конца дней своих служил царю русскому в русском войске, в 1590 году ходил в шведский поход, а позднее, уже при Борисе Годунове, воевал с крымскими татарами.

Сотник Артюшка Кибирь уплыл на двух стругах в низовья Оби проводить морские пути. Вешние воды и ветры вынесли казаков в океан, и они погибли во льдах.

Богдан Брызга плавал вниз по Иртышу, в подданство привел и в ясак положил волости: Назымскую, Немнянскую, Арямзянскую, Нащинскую, Карбинскую, Увацкую да Туртасское городище. Жадность увела Брызгу далеко от реки, много добыли, но на обратном пути заплутались в болотах, съели собак, голенища, ремни, голицы, бросили все доброе и прибрели в город наги и босы, изъеденные комарами.

Охотники одного селения от стара до мала ушли в тайгу на промысел, оставив домовничать одних баб и стариков. Нагрязнули сборщики ясака – Головин и с ним еще пятеро. Поджидая добытчиков, казаки привезенное с собой вино пили, вином тем девок поили да голых выгоняли из чумов, всяко над ними тешились и великое чинили похабство. Одна тайком вышла на тропу, слепила из снега чучело, воткнула в сердце чучела нож и так оставила. Возвращающиеся охотники наткнулись на чучело, сообразили в чем дело, подкрались к своим жилищам и порубили пьяных казаков да пометали их в болото.

Атаман Михайлов с дружиною плавал вверх по Иртышу, воевал Кудрацкую и Салынскую волости. Татары, сколько им свой бог помощи подал, отбивались, но русские одолели и за упорство многих побили и сколько хотелось – пограбили. Спустя некое время в те же места пришел Кучум-хан с уланами и в отмщение того, что его единовверцы поддались казакам, остальных добил и дограбил и сакли разметал. Волости Курдацкая и Салынская стали пусты.

И сам Ярмак плавал на Тавду-реку, воевал Лабутинский городок. Три дня крутились казаки около того городка и не [152/153] могли взять. Есаул Осташка Лаврентьев навязал на веревку железный крюк и притулился под крепостной стеною, а казаки принялись мяукать, свистать и гайкать. Простодушные вогулы, дивясь, высыпали на стену. Осташка метнул крюк и сдернул одного.

Язык с пытки сказал:

– Бог у нас хорош, оттого и сильны.

– Где взяли хорошего?

– Старый, батюшка. Литой из золота, глаза сделаны из зеленого камня, сидит в чане с водой. Шаманы поят той водой воинов, оттого и сильны. Уходите к себе, не взять вам нашего города.

– Возьму, – сказал Ярмак, и, переодевшись в лохмотья пленника, ушел в ночь, а перед светом вернулся на стан и вытряхнул из кожаного мешка золотого, с большой кулак, болвана.

Кинулись на приступ.

Вогулы скакали через стены и утекали. Сотворилась злая сеча в том городке. Жены и дети, от испуга омертвев, выли и путались между дерущимися. Городок сожгли, князца Лабуту удавили и поплыли дальше.

Повоевал Ярмак Кошуки, Кандырбай и Табары, всю тамошнюю землю в страх привел и в ясак положил. После того сплавал атаман на Обь, жилища тамошние пошарпал и жителей в ясак положил. Тамашние остяки по своему обыкновению весной откочевывают с реки на озера и сторонние лиманы, находя там от мечущих икру рыб лучшее пропитание, а в комариное летнее время уходят остяки со всеми животами и стадами своими к берегам Ледовитого океана, куда гнус следовать за ними не смеет. Ярмак же, не ведая тех обычаев, проплыл по Оби несколько сот верст, не встречая живой души, и, с горечью уверившись, что земля та проста, вернулся к себе в город.

Следом за дружинами ездил поп Семен и крестил сибирцев.

Далеко по тайге и тундре редкой цепью рассыпались ясашные городки – одна-две избы и амбарушка, обнесенные тыном. Сюда два раза в году народы свозили ясаки.

Голод и моровые поветрия, как дрожь, пробегали по стране. Там и сям вспыхивали восстания, но сибирцы не умели брать ясашных городков; к тому же, испытав на себе действие огнестрельного оружия, они боялись подходить близко к укреплению и, издали пометав стрелы, разбегались.

Надеялись, что злобе казачьей настанет конец.

Степь еще кое-как держалась, но тундре и приречным становищам приходилось туго. Стада поредели, а то и вовсе рассыпались, огни очагов потухли, жилища замело снегом.

Обнищавшие остяцкие князья с семьями бродили меж уцелевших чумов и кормились милостынею. Иные, забрав богатства, бежали в Югру, Мангазею – к низовьям Лены и Енисея. Иные [153/154] шли на службу к русским атаманам и за грошвые подарки променивали сытость и волю своего племени.

За реки Чапур-яган и Сосву, в недолзные болота уходили вогулы, чтобы разучиться пахать землю, забыть рудное и кузнечное дело, чтобы замутить свой язык чужими наречиями.

Сильные охотники были побиты или бродили в одиночестве, – сумы их болтались пусты, не хватало силы промыслить зверя и птицу.

Угасла и храбрость сибирских народов, лишь в сказках да былинах до наших дней мерцают отсветы былой славы, – так на протяжении многих веков песнь собирала под свое крыло богатей.

Лежала зима широка, глубока.

Ярмак сказал в печали:

– Сибирь пуста... Думайте, что будем делать? Хлебные амбары пусты... Думайте, чем будем свои головы кормить? Чувалы зелейные пусты, вовсе мало осталось ружейного припасу... Думайте, как будем воевать.

Молчали подручники, собираясь с мыслями.

А Ярмак:

– Не кажется сибирцам под казачьей рукой жить – бегут в Мангазею, утекают на Алтай и в Семиречье. И сами мы, товариство, остались в малой силе: иные побиты, иные сбежали, которые от болезней и чародейства басурманского примерли. Не досидеться бы нам тут до того, чтоб звери хищные пожрали оставшихся.

Подручники переглянулись и – понесли:

– Сибирцы – они хитрые.
– Мало мы их били.
– Ты, Никита, готов ордынцев живьем глотать да той своей жесточью многих и отпугнул.

– Заткни глотку, дуросвят!

– К делу!

– К делу, братья!

– Мало уцелело казачьей силы.

– Да, русские люди сюда надобны.

– А наши зазывалы?

– Посланы зазывалы на Дон и Волгу. Вторую зиму от них ни слуху ни духу.

– Сбежали.

– И придут сюда голюшки понизовые – проку от них мало, только разве веселее будет.

– О-ох!

– Не миновать нам, светы атаманы, идти к царю с [154/155] покором – корму просить, зелейного припасу просить, людей в Сибирь просить...

– Удумал, голова трухлявая! Придут воеводы на наших костях пировать, будут тут сидеть да бороды отращивать. Не горько ль?

– Горько, дед Саркел, горько!

– На кляпа нам царь сдался?

– Нечего молиться богу, кой не милует.

– Под обух бы его со всеми причандалами!

– Уймьтесь, горлохваты! Не поносите царя православного! Плох ли он, хорош ли, а одной он с нами веры и одной земли.

– Не бывал ты, борода козлиная, в пытошной башне, а то иное бы заблеял.

– Будя шуметь. К делу!

– Какое!

– Отойдем в отход на Волгу да там как-нибудь свой век изживем.

– А Сибирь бросать?

– Провались она!

– Э-э, нет, братику! Такими кусками прошвыряешься.

– Не нам, так нашим потомцам пригодится. Что добыто саблей, то наше.

– Наше!

– Сибирь бросать жалко. Сколько мы тут своей крови уронили!

– Было б нам, Микитка, загодя на Волгу сбежать...

Не день и не два судили-рядили гулебщики да, сложившись разумом, и не без стона порешили – слать в Москву поклонных соболей.

Разбросили атаманы жеребья, пал жребий на Ивана Кольцо и Мамыку.

– А чего я? – мычал Мамыка. – Как оно там, на Москве?... Ох-ох, не манит ворону в царские хоромы.

- Не тужи, Мамыка, - тряхнул кудлами Иван Кольцо, - хватит розмыслу и с царем поговорить. Кафтаны на нас серые, да умы бархатные. Вернемся живы - встретят нас товарищи с честью. Сгинем...

- Ну, якар мар, сгинете, - засмеялся Ярмак, - придем на вашу могилу, наворотим по куче да репку споем... Так и скажите ему: "Мы, донские и волские казаки, бьем тебе, государь, царством сибирским". Да кланяйтесь почаще, - он, батюшка, покор непокорных любит.

Сборы были коротки: снарядили атаманы собачий да олений обоз, припасу дорожного взяли, навязали воз поклонных соболей, прихватил Иван для чину трех казаков.

- Путь-дорога, братцы!

Ишбердей взмахнул погоняльным шестом и гикнул:

- Эй-ла! [155/156]

Олений и собак ровно ветром сорвало и унесло. Провожальщики не успели глазом моргнуть - обоз скрылся из виду.

Кутила зима

вьюга мела

и в глаза несла...

Гонимые по насту снега текли-плескались, как вода. Взыгрывали снежные козлы.

Собаки на скаку хватали горячими языками снег. Олени бежали спорой рысью, валил от олений пар. Непокрытая голова Ишбердея была запорошена снежной пылью.

- Эй-ла!

Он проводил казаков за Камень, до русских мест, и тут отстал.

Дальше погнали на лошадях, в широких розвальнях.

Передом, накатывая дорогу, скакали пять порожних троек.

Ехали борзо.

Ямщики, на морозе калёные, подъезжая к яму, свистали - да так, что от того свисту у казаков ровно дыру в ухе вертело. На свист другие ямщики выводили свежих лошадей.

Похлебают посылы щец, набьют брюхо кашею и - шарила!

Дорога полем, дорога лесом, ухаб, овраг, болото, холм, и по холму голый кустарник, как волчья щетина. Спали заметенные снегами древние деревни, - над снегами где-где торчал клочок гнилой соломы, закопченная избяная труба. Луна топила мгlistые поля, над черными лесами горели холодные звезды.

Просторы... В просторах тонул глаз, радовалось сердце, напоенное, накормленное просторами. Сдобно пахло конским потом да теплыми конскими говьями. За обозом гнались волчьи орды, по снегу летели косые волчьи тени. Казаки громили волков из взятой на дорогу пушки.

Большая московская дорога, как река, несла людей конных, людей пеших, торговые караваны. С севера тянулись обозы с рыбой, льном и кожами. За возами шагали рослые мужики с бородами, обледенелыми будто банные веники. Обозы обгонял обитый медью и выложенный костью щегольской возок купчика-скупщика. На раскормленных монастырских битюгах плелись краснорожие монахи-сборщики. Звеня веригами, шли и ползли юродивые, храбро открыв голые груди навстречу вьюгам и морозам. Боярин с семьёю пробирался на богомолье в санях столь просторных, что в них впятером можно было лечь и спать. От города к городу гнали скороходы. С Руси брели калеченные ратники, нищие, бездомки да работные люди тверских, вологодских и владимирских земель.

Москва блеснула жестяными главами церквей.

Заставу миновали на рассвете.

В морозном инее дремала столица. Кривые улочки тонули в сугробах. Дворы были обнесены бревенчатым тыном, а то и плетнем. По дворам горланили овцы, раскальвались петухи, кто-то кого-то лаял последними словами. На перекрестках улиц, около [156/157] колодцев, как галки, кричали молодухи, вокруг обледенелых колод табунились коровы и лошади. Светлый дым столбом

качался над трубами. На папертях толклись, гудели нищие. Не спеша шли к церквам люди московские в шубах и охабнях, опоясанных кушаками низко, по самому заду. Кремлевская стена после татарского разорения все еще достраивалась: набережная Москва-реки была завалена строевым лесом и бунтами каленого кирпича.

Разбежались у казаков глаза.

Зашли в часовню, поставили по свече и наскоро помолились. Тут же, рядом завернули в кабак. В кабаке нестерпимый жар, вонь, разило чесноком, кислым хлебом и горелым луком. Для храбрости – выпили. Иван Кольцо поучал товарищей:

– Будет царь о чем спрашивать, ворчи чего-нибудь про себя, мычи, но голосу не подавай. Брякните словцо некстати – государю обида, а мне – кнут.

Кабатчик провожал казаков, коих он принял за купцов, до возка и низко кланялся.

Ямщик разобрал вожжи.

– Э-э, залетные!

С простоты да по незнанию, всем обозом подкатили прямо к высокому резному крыльцу царевых хором, что считалось нарушением чести государева двора.

Иван Кольцо распорядился:

– Кашляй! Сморкайся!

С треском высморкались, обили смушковые, татарской валки, валенки и полезли на крыльцо.

В дверях показался голова стрелецкий и крикнул:

– Шапки!

Переглянулись и неторопливо стащили шапки.

– Куда?

– К царю.

– Отколь вы и кто?

– Сибирской земли послы.

В полутемных сенях топтался караул стрелецкий, человек с двенадцать, все вороной масти и в ладных малинового сукна кафтанах.

Из щели узкой двери высунулась лисья морда думного дьяка.

– Кто гамит?

– Казаки.

– Господи Исусе! Кого вам?

Наученный головой стрелецким, Иван Кольцо ответил уже по чину:

– До великого государя и царя Ивана Васильевича с добрыми вестями волские и донские казаки.

Дьяк еще раз оглядел их и скрылся, а голова попросил казаков снять оружие. Отдали пистолеты, чаканы, но шашки не снял [157/158] ни один. Заспорили. Егорка Поморец, колотя себя кулаком в грудь, так, что грудь гудела, стал кричать о сибирской славе. На шум из внутренних покоев вышел боярин и, снова обо всем казаков расспросив, успокоил и втолковал, что с оружием к царю никто не допускается, велел оставить шашки и провел в переднюю.

Государева Москва жила в горе. Последние проигранные войны вконец разорили казну, пошатнулась торговля, – большинство лавок в Китай-городе были заколочены досками, разорившиеся купцы сидели по тюрмам или ударились в бег. Пожарами подняло Яузскую и Замоскворецкую слободки, одичавшие собаки бродили по пожарищам, выскивая и пожирая горелую падаль и человечину. Народ, спасаясь от голодной смерти, расползлся и разбежался из Москвы на все стороны. Казаки с сибирскими вестями приехали кстати.

За обедом повеселевший царь подробно о делах сибирских выспрашивал да подливал гостям в кубки, а себе в чашу душистую романею.

– Были мы, государь, во всяких твоих службах и службишках – и в пешей, и в конной, и в лыжной, и в стружной, и в пушкарях при взятии Казани, и у

строения городов, и у сбора ясака, и в толмачах, и в вожах, и у проводывания новых земель, и у подведения неверных под твою, царь, руку...

- Ведомо мне по всей истине, как вы, злоумысля и преступя многое крестное целование, купцов на Волге грабили, послов наших побивали, городки и острожки и черные слободки жгли, казну нашу всяко разоряли и множество православных христиан до сущих младенцев саблями секли и иные непотребства творили.

- Мы, государь, свою славу худую омьли кровью и службой своею. За нашу службишку и кровь, и радение, и за нынешний поезд пожалуй нас, государь...

- Бог с вами, прощаю! Все вины ваши покрываю своею милостью. Как, по велению божию, царство Сибирское вы забрали, пошлю к вам воевод с войском, попов, иконы, книги и колокола и все церковное строение. Вы верою укрепитесь. Наша Христова, православная вера - всем верам вера. Служите мне содружно и будьте готовы ударить против недругов, непослушников и изменщиков, кои злоумыслием своим оплели меня, как паутиною... Говорят: которая земля перестраивает обычаи свои, та земля недолго стоит.

- Постоим за царя и за веру крепко, будем биться до смерти с недругами твоими, непослушниками и изменщиками!

- За храбрость вашу спасибо. Суд божий есть, и честь царева суд любит. Вы б, атаманы и казаки, помня свое обещание за царя и веру стоять и прежнюю свою службу и страдание, и крови казачьей в Сибири разлитие, - то с моими воеводами жили бы дружно и заодно укреплялись бы против ордынцев, сколько [158/159] всецедрый бог помощи подаст. На мою рать особенно не надейтесь, - нету у меня рати, всю растеряли глупые воеводы.

В глазу царском блеснула слеза. Уронив голову на грудь, он некое время молчал, потом снова заговорил:

- О рудах медных попечение имеем. Ввозим мы те руды из других государств, а у нас руд и своих много. Велел я Строгановым купцам приискать - они не нашли, а живут на дарованных землях, немалые прибитки от торговли получают, а о моем, государевом, деле не радеют. Чаю - Сибирь - край богатейший. Вы о тех землях прилежно проведайте и мне скажите. Строгановы таят выгодный торг для своей прибыли, выменивают соболя на жестяную пуговицу, земли у инородцев отнимают и от меня с Руси людей сманивают, сами хотят царями быть... Глядел рухлядь, привезенную вами, - добрые соболя, давно таких в руках не держивал. За подарки спасибо. Отдарками все отдарю и жалованьем пожалуй, коли не станете заводить воровства да смуты. А чем будете скудны - одежей ли, обужей ли, боевыми ли припасами, - все дам, все дошлю и от себя Строгановым отпишу... Алексей! - позвал царь и постучал посохом в стену.

В дверях появился Адашев в монашеской скуфье, насунутой по самые брови.

- Алешенька, - обратился к своему наложнику царь, - вели казначеям отпустить на всю Ярмакову дружину жалованье за год. Казакам по пяти рублей на голову, есаулам и сотникам - по десяти рублей, атаманам - по полусотне. Пошлю сукна всем на штаны и на кафтаны. Подарю Ярмаку шубу свою да панцирь добрый, да саблю хоросанскую. Скажи дяку Лукашке, чтоб отпустил атаману Ивану Кольцову два фунта ладану да сорок пудов пороху, вина церковного боченок, ящик свечек восковых да сто пудов свинцу. Сготовь подорожную грамоту: указываю пропустить казачьего атамана Ивана Кольцова с товарищи в Сибирскую землю, а ехать им на Вологду, Тотьму, Устюг. Посылать с ними от города до города провожатых по сколько пригоже, чтоб им было ехать от воров бесстрашно. И корм им и лошадям их давать, чтоб сытым быть и чтоб никакие нужды в дороге не терпели. В придорожных кабаках вином вволю поить. Воеводам острогов напиши особо: корму, лошадей и провожатых давать казакам тотчас, чтоб им ни в котором городе задержания и помешки не чинилось бы. Иди!

Адашев поклонился и вышел.

Царь - казакам:

- Сыскивайте по Сибири гулящих людей и верстайте их в ясачные, дабы ни

избылых, ни проштатаев не было. Собирайте данье мехами, конями, златом и чем бог приведет. Народ сходен [159/160] с бородюк: чем больше стриги, тем гуще будет расти. Ясаки присылайте за крепкой охраною каждый год к благовещенью дню. Знаю, наживались за вами грешки самоохотные, – да кто старое помянет, тому глаз вон. Ныне службу свою прямую мне покажите. Подарю вам свой серебряный кубок, всегда из него пейте да меня помните. А коли станете мне челом бить, а сами учнете не по моему слову ходить или сызнова пуститесь в разбой, тогда и ласка моя будет не в ласку...

День случился постный. На обед были поданы щи кислые, блюдо квашеной капусты, каша с конопляным маслом да сушеные венгерские сливы.

Казак, отобедав у царя, пошел на радостях дообедывать в кабаке.

Весть о покорении Сибири быстро распространилась по столице. В церквах – звон большой. Народ валил в Кремль поглядеть на послов. Купцы с ног сбились, рыская с хлебом-солью по всей Москве в поисках завоевателей.

А казак, как с крестом, шёл из кабака в кабаке, везде зелено вино пили, денег ни грошика не давали да еще затевали с голюшками кабацкими драки. Так, стоял кабакишка на яру, над Яузой-рекой, – Мамыка разыгрался да столкнул тот кабаке под яр вместе с горланящими песни пьяницами.

Немало победокурили гостышки пока гостили, а там поднялись и – шарил.

Дорога по лесу

дорога лесом

ухаб

раскат

овраг

болото...

Да и Русью ехали с великим боем и озорством. В одном сельце грабили, в другом спускали награбленное за полцены. Под Тотьюмою подняли на ура вотчину худародного князца Кубасова да батогом вымучили из старика двести рублей. В Устюге застрелили решеточного сторожа, ящикам прогонов нигде не давали, да накидали полны сани девичьей красоты и веревками укрутили – мчали русскую красоту в Сибирь на племя. Лай псов, лютая темень. Ломились в ворота.

– Отпирай!

Тихо.

Высадили ворота, чаканами высекли дверь.

– Здорово, хозяин! Жарь поросю, щипли гуся! Перед ними стоял полуодетый мужик с лучиною в дрожащей руке и угрюмо бурчал:

– Гуся, поросю... Сами на мякине сидим.

Мужика – плетью, мужик – за топор:

– Не балуй, казак! [160/161]

По слободке бабы визги, накрик. На колокольнице сполошный звон. К слободке, чая нивесть чего, со всей волости скакали верхами и в санях с топорами, вилами, дреколем.

Казак заперлись в избе и двое суток, пока было вино, сидели в осаде. Потом атаман вышел на крыльцо с бумагой в руках.

– Царев указ.

Мужики, что грелись у костров, стащили шапки и хмуро молчали.

Слободской поп вслух прочитал подорожную грамоту. Мужики в страхе разбежались. Однако седоглавый слободской староста сказал атаману:

– Не дуруйте, православные, а то из лесов наших живыми вас не выпустим.

– А чего вы, старик, ни кабака, ни б... не держите?

– Живем по преданьям отцов и дедов.

Засвистали, поехали дальше.

И долго еще слобожане ахали, казаков вспоминаячи.

– Пятеро, а сколько от них грозы и страху приняли!

– Им, мил человек, тише ездить нельзя: Сибири громители.

– В чумной год народ такой лихости не видал. Слава богу что их пятеро, а не дружина целая, злее орды татарской.

Борзо гнали, а слух еще борзее летел: жители запирали дома, прятали девок, угоняли в леса скот, выставляли подводы, чтобы поскорее выпроводить незваных, непрошенных.

Во всех городках, слободках и деревнях, на пути стоящих, казаки вино и девичью красу пили да житьишко сибирское хвалили, чего ради много гулящих и беглых людей увязалось за ними: бежали за казачьим караваном пеши, гнали на уворванных лошадях, иные шли по слуху.

.....

Реками – по казачьему следу – приплыл князь Семен Болховской да привел с собой пять сотен стрельцов московских. Начал князь вводить в городе московские порядки и оттого притужания многие казаки пустились в разбег.

Мурза Карача прислал к Ярмаку гонца с прошением отправить к нему на помощь несколько казаков против киргиз-кайсацкой орды. Ярмак тому объявлению с радостью поверил и, говоря: "Через сего знатнейшего мурзу и прочие склонятся на русскую сторону", – отправил с нему Ивана Кольцо с полусотней. Карача присланных вероломно перебил. Яков Михайлов не поверил тому и с тридцатью казаками бросился на выручку друга. Татары и этих окружили да всех побили. [161/162]

Рассыльщики карачинские шныряли меж татарами, остяками, вогулами и подговаривали их к всеобщему восстанию, потому-то и были равномерно перебиты казаки, разбросанные там и сям по сбору ясака.

По последнему мартовскому снегу расхрабrevший Карача и сам пришел под город с сильным войском и расположился вокруг города, обдернувшись обозами: долговременной голодной осадой он вознамерился принудить завоевателей к сдаче.

Так у русских все дороги были отняты, а земля пребывала в возмущении. Казаки и стрельцы поедали падаль, хомуты, трофейные щиты, лыко сосали, многие за зиму примерли бедной смертью, но оставшиеся в живых осаду выдержали и Карачу от города прогнали.

...Жили.

В город прискакал запыленный и оборванный лазутчик Чумшай.

– На твой зов, атаман, сюда идет бухарский караван с товарами. Кучум-хан держит бухарских купцов на рубеже Ишимских степей и в Сибирь не пускает.

Ярмак давно искал встречи с ханом.

Набрал полусотню казаков и скорым делом поплыл вверх по Иртышу.

Жители близлежащих становищ были в совершенной покорности и по пути следования казаков, по своему обычаю, резали баранов, раскидывая тушку баранью на одну сторону дороги, голову – на другую. Однако чем дальше удалялись завоеватели от своего логова, тем все чаще и чаще натыкались на косые взгляды.

Первый бой приняли у бегишевых юрт. Татары защищали свои жилища с большой отвагой, по поводу чего старописец с душевной простотой замечает: "Казаки так на неприятелей огорчились, что ни одного человека, который им в руки попал, живым не пускали, и весьма малое число было тех, которые бегством спасли живот свой".

Повоевали и разорили Шамшу, Рянчик, Залу, Каурдак, Тебенду объясачили.

Долго гоняли по степи кочевников, многие другие городки и юрты погромили, но нигде ни хана Кучума, ни каравана бухарского не нашли, – смекнули, что дались обману, и повернули назад.

Плыли в тихие ночи, когда на еле колеблемой ходом стругов воде плясала звезда;плыли и в ветер, когда подымалась на Иртыше вся щетина.

Татарин крался берегом – по траве, по кустам – в правой руке шашка, в

левой, поднятой до уровня груди, травы пук, скрывающий загорелое до черноты лицо и волчий блеск глаз. [162/163]

Плыли.

Бежал Иртыш, храпя и прядая как конь.

Бушевала такая темень, что под веслом и воды было не видно, будто обнялись и выли над Сибирью разом сорок ночей.

– Пора и на стан, атаман... Третью ночь не спим.

Слипались словно песком засоренные глаза, кости просили отдыха.

Ярмак повернул свою каторгу к берегу.

Заночевали на острове близ горы Атбаш.

Лаял ветер

лес стонал и трещал

темнота ночи была умножена

дождем.

Знали татары брод к тому острову.

– Ара, джамагат.

– Ара, ара... .

– Аллага...

Скользя по размокшему берегу, полезли в воду. И вот, в самый развал сна, пролился на спящих ливень клинков.

Ярмак воспрянул, когда уже больше половины людей было посечено.

– По стругам! – загремел его голос.

Работая шашкой, атаман кинулся к воде, но татары, чтоб отрезать казакам надежду на спасение бегством, заранее ссунили с берега пустые лодки, и они, подхваченные быстрым течением и ветром, исчезли во тьме.

(Панцирь Ярмака – царя подарок – бит в пять колец мудро, длиною в два аршина, в плечах с четвертью аршин, на груди и меж крылец печати царские – золотые орлы, по подолу и рукавам опушка медная на три вершка.)

Прижатые к берегу казаки рубились и отстреливались, сколько силы хватало.

Падали

гибли.

Ярмак отбивался, пока не перелетела шашка, ударившись о татарское копье.

С крутояра бросился в разливы... Тяжкий панцирь увлек атамана в пучину, волны шума сомкнулись над его непокрытой головой...

...Неприветлива ты, чужая сторонка, нерадошна.

Дурыня, удалой казак! Не твои ли очи песком засыпаны? И не твой ли последний вздох ветер развеял по степи?

Не твое ль тело, Якаш, поделили меж собой хищный зверь и хищная птица?

Не слышно было больше и песен Якуньки Дедюхина – с кровью изошла его жизнь. [163/164]

Чапура, ясмён сокол! Не твое ль тело моет вода, не твои ль кудри завивает волна?

И ты, Заруба, отгулял, отбуйнил – смирнехонько лежишь в долбленной колоде. Над твоей могилой вьюга завивает пушистые венки...

Не тебя ль, Табунец, аркан кочевника увлек в далекую Бухару? Не твою ль бычью шею гнетет колодка и не ты ль, в земляной тюрме сидючи, в косматую грудь крест заростил и не ты ль глосешь сухую корку, кропя ее своей слезой?

Кряж мерзлой земли лег на грудь охотника Яха. Могучие руки его, что раздирали пасть медведя, заоченели.

Мамыка и Сенька Драный, Черкиз и Рамоденков, повздорив с воеводою московским, ушли на восход солнца и следы их замыла вода, замыла пурга...

.....
Ценный зверь уходил все дальше и глубже в тайгу, в тундру и в степь. По следам зверя, неся тамошним народцам гибель, шел русский промысленник и

добытчик: ни болота, ни таежные заломы, ни лютые морозы не держали его.

Следом за казачьей саблей катилась деньга купецкая, за деньгой – топор, соха и крест.

С Руси на многих стругах плыла в Сибирь московская рать воеводы Васьки Сукина, да Ивана Мясного, да письменного головы Данилы Чулкова.

За ратью, на привольное житье украин, двигалась с семьями и скарбом голодная мужичья орава.

Пеши шли

конны шли

лодками греблись

телеги на себе везли

бродом брели

пльвом пльли...

Новоселы вымирали от гнилой воды, гибли от лихорадок и от шашек сибирцев, но все же на самом пороге Азии крепили свое владычество: горели леса, до облак взвивался багровый дым, горели травы, полыхала степь пожарами горькими, – то пришельцы расчищали место под пашню. Упорно стучали русские топоры, гремели песни, убогая соха подымала первую дикую борозду. И над неоглядными просторами на усторожливых местах – грозя сияющим крестом далеким аулам – вставали городки и острожки, обкиданные боевыми завалами, рвами и терновником. Орда набегала сюда в вихрях пыли, в огне и реве и, разбившись под стенами русских укреплений, с воем откатывалась орда, оставляя за собой кровавый след. Брякал церковный колоколишка, вонь ладана мешалась с пороховой гарью...

1926 – 1932

Литературные додарки

Как дело было

Летопись сибирская

(Вольный пересказ)

1

Вниде в слух благочестивому государю, царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, о частых приходах басурманских войною на его государскую землю Пермскую от сибирских людей и как безбожные своим приходом русским городам и посадам и селам многое пленение и запустение учиняют. И вложил бог благочестивому государю во ум расспросить своего государства ведущих людей про ту страну, и повелел царь-государь поставить перед собою промышленников и купцов Якова и Григория Строгановых и расспросил их, как бы оберечь Пермскую землю от нашествия сибирских людей и чем бы Кучуму салтану тесноту учинить. Они же царю все подробно рассказали, и слово их ему, государю, было приятно.

2

В лето 1558 года царь пожаловал Григория Аникиева сына Строганова ниже Великой Перми за восемьдесят и восемь верст, вниз по Каме по правую сторону устья Лысьевы-речки, а полевую сторону вниз Пызновской Курьи по обе стороны по Каме до Чусовой-реки – места пустые. Где изберет Григорий [165/166] Строганов место крепко и усторожливо, тут ему и городок поставить, и крепость огородить и пушкарей, и затинщиков, и пищальников, и воротников нанять для обереганья от сибирских и ногайских и иных орд. Ему, Григорию, поведено называть к себе вольно нетяглых и неписьменных людей.

3

В лето 1564 года царь Иван подарил Григорию же Аникиеву сыну земли на Орловском волоке. Велел Григорию поставити стены сажень по триста меж углами, а с приступной стороны по низу обрыть и камнем скаты выложить. Пищальников и сторожей в том городе поставити и держати наряд скорострельный: пушечки, и пищали, и затинные, и ручницы поделати записным мастерам, которых к себе приговорити из найма.

4

В лето 1568 Якову Аникиеву сыну Строганову пожалованы от устья Чусовой вверх по обе стороны и до вершины все земли и все речки, льющияся в Чусовую, до своих вершин. И повелено в тех местах, от Камы до Чусовой вверх на восемьдесят верст на правой и левой стороне поставити городки для обереганья от басурманских орд. Завести городской наряд скорострельный, и всякие крепости поделати, и людей называти в те городки вольно.

5

В лето 1570, по цареву хотенью, поставил Яков Строганов острожки над Сылвой и над Яйвой реками на пути сибирских и ногайских людей для утеснения сылвенских и иренских татар, и остяков, и чусовских, и яйвинских, и ильвинских, и косьвинских вогулич.

6

В лето 1572 божьим попущением пришли на Каму черемисы, остяки, башкирцы и буинцы и около городков Канкора и Кергедана побили русских торговых людей восемьдесят семь человек. Яков и Григорий Строгановы напустили на азиатцев свою дружину и множество некрещеных было побито и множество в полон взято и к шерти приведено, чтобы впредь оброк царю русскому давать и во всем прямити и по все дни быти подручными. [166/167]

7

В лето 1573, на Ильин день, из Сибирской земли с Тобола-реки приходил Кучумов сын, Маметкул, с мурзами и уланами на русскую сторону дороги проводить. Да в этом приходе многих данных остяков побил, а жен их и детей в полон повел и посланника государева Третьяка Чебукова и с ним служилых татар, кои шли с ним в Казань служить, иных побил, а иных в полон взял. До Чусовских городков не дошел пять верст, побоялся и назад воротился. А Строгановы вдогон за Маметкулом рать свою послать не посмели, а писали обо всем царю. По разборе дела, без малого через год, из Москвы была прислана грамота, дарующая Строгановым земли за Югорским Камнем на Тахчях и на Тоболе-реке, и на Иртыше, и на Оби, и на иных реках, где приглянется и пригодится острожки поделати и снаряд огненный завести, и у рыбных ловель и у пашен двory ставить, по обе стороны Тобола и по рекам иным, и по озерам крепити всякими крепостями накрепко. А кои остяки и вогуличи и югричи от сибирского салтана отстанут и захотят быти под его, государевой, рукой, и почнут ему, государю, дань давать, – слать их с провожатыми в Москву, а жен их и детей и самих данников беречь от набегов сибирцев. На сибирского салтана посылать воевать доброхотов из своей дворни и остяков, и вогулич, и югрич, и самоедов, кои похотят. А станут приходити к Строгановым купцы бухарские и иных земель – торговати с ними вольно и беспошлинно.

8

В лето 1579 года прослышали Семен, Максим и Никита Строгановы о буйстве и храбрости поволских казаков и атаманов Ермака Тимофеева с товарищи, как они на Волге на перевозах ногайцев побивают и ардобазарцев грабят и побивают. Строгановы людей своих с писанием и с подарками послали к ним, дабы шли в Чусовские городки на спомогание. Тогда атаман Ермак Тимофеев с товарищи: Иван Кольцо, Яков Михайлов, Никита Пан, Матвей Мещеряк, а всего единомысленников пятьсот и сорок человек вскоре пошли на призыв Строгановых.

9

Того ж году, в день памяти чудотворцев и бессребреников Кира и Иоанна, приплыли казаки с Волги в Чусовские городки с радостью и на радость. Семен, Максим и Никита Строгановы приняли их с честью и дали им дары ножи, и естой и питиями их обильно наслаждали. Атаманы и казаки, рассыпавшись по городкам и острожкам, стояли против неверных агарян буйственно и немилостиво, а всего прожили у Строгановых два года и два месяца. [167/168]

10

В лето 1581 злокозненный дьявол, иже искони ненавидящий добра человеческому роду, поощрил злого и безбожного вогульского мурзу Бегбелия со своим вогульским и остяцким собранием, – а собрания его шестьсот восемьдесят человек, – и пришли безвестно, украдом под Чусовские городки и под Сылвенский острожек и тут окрест живущие села и деревни попленили и пожгли и в полон многих людей – мужей и жен и детей – поймали, но преблагий бог не попустил окаянных превозноситься. Вскоре над ними, безбожьими, русские победу одержали и многих поймали и по тем вестям на переходах и перелазях многих побили, а иных переловили, и мурзу Бегбелия взяли жива. И они, видя свое изнеможение, царю московскому вину свою принесли и добились челом, что быть им под данью царевой и на русскую землю впредь лиха не мыслить и войною не ходить.

11

В лето 1582, первого сентября, на память преподобного Симеона Столпника, послали Строгановы из городков своих на сибирского салтана волских атаманов и казаков и с ними проводили своих ратных людей: литовцев, немцев, татар и русских – предобрых воинов – триста человек и отпустили их с казаками заодно, и того их собрания учредилось восемьсот сорок человек, отпели молебен всемилостивому, в троице славимому, богу и пречистой его Богоматери, и всем небесным силам, и всем угодникам его, и удовольствовались их казною и одеянием украсили и оружием снабдили: пушками, пищальми скорострельными и запасами многими. Вожей дали и толмачей басурманского языка им дали. Казаки с приборными людьми пошли на сибирского салтана, чтобы очистить место для русского поселения и отогнать безбожного варвара. Шли по Чусовой вверх до устья Серебрянки и по Серебрянке шли до волоку и поставили тут Кокуй-городок. Тут, перезимовав, бросили тяжелые струги, а легкие переволокли на речку Жаровлю и поплыли вниз и вышли на Туру-реку: ту бе и сибирская сторона.

12

В те же времена злочестивый и безбожный князь пельмский ярости многой наполнился и паки зверострашием объят бысть, и умысли злохитрое коварство в сердца своем и начат лести с лукавством шивати, и бысть ему, безбожному, ко своей гибели. Тогда он, злочестивый, собрал воинов семьсот и подозвал с собою буйственных и храбрых и сильных мурз и уланов со [168/169] множеством

воинов. Он же, по злой неволе, взял с собою сылвенских и косьвинских, и иренских, и обвинских татар, и остяков, и вогулич, и вотяков, и башкирцев множество. Пришел с воинством своим и яряся на Пермские городки и на Чердынь и те места попленил и пожег и к стенам града сурово и люто приближался и едва не взял. Но всемогый бог не допустил окаянных, и вскоре князь пельмский от того места пошел под Кай-городок и тут пакость учинил и оттоль окаянный пошел под Камское Усолье и тут села и посады пожег и людей попленил. Потом пришел под Канкор и под Кергедан городки, а оттоль пошел под Чусовские городки и под Сылвенский и Яйвинский острожки, и внезапно напал на Чусовские городки, и около ту живущих крестьян множество посек и села и жилища пожег и немилостиво православных в полон погнал. Казаков же не было в ту пору в городках, а оставшиеся в городках люди от злого притужания татар едва смерть избьли, и то не силою своею, а божьей помощью, и оттоле многие скорби приняли от окаянных. Строгановы же с людьми своими, призвав в помощь всемилостивого, в троице славимого, бога и пречистую его богоматерь и всех угодников его, вышли из-за стен и мужественно устремились на врага, и многое множество от обеих сторон пало, и неприятели пустились в невозвратное бегство. А Чердынский воевода Василий Перепелицын пожаловался в Москву на Строгановых, что они-де ему не помогали.

13

В лето 1582, шестнадцатого ноября, за черною восковою печатью была получена Строгановыми царева грамота.

"Писал к нам из Перми Василий Перепелицын, что послали вы из острожков своих волских атаманов и казаков воевать вотяков и вогулич, и татар, и пельмские, и сибирские места. В то же время пельмский князь пришел войною на наши пермские места и к городку Чердыню и к острогам приступал, наших людей побил, многие убытки нашим людям учинил. И то сделалось вашим воровством и вашей изменою: вы вогулич, и вотяков, и пельмцев от нашего жалованья отвели, и их задирали, и войною на них приходили да тем задором с сибирским салтаном ссорили нас. А волских атаманов к себе призвав, воров наняли в свои остроги без нашего указа, а те атаманы с казаками прежде того ссорили нас с ногайской ордою, послов ногайских на Волге на перевозах побивали, и ардобазарцев грабили и побивали, и нашим людям многие грабежи и убытки чинили. Им, казакам, было б вины свои покрыть тем, чтобы нашу Пермскую землю оберегать, а они сделали с вами вместе по тому же, как на Волге чинили и воровали, и Перми ничем не пособили. Послали мы в Пермь воина Аничкова и велели казаков взять, отвести в Пермь и в Усолье Камское, и тут им стоять велели, разделясь. А не [169/170] вышлете из острогов своих волских казаков, атамана Ермака Тимофеевича с товарищи, будет положена на вас опала великая, а атаманов и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу землю выдали, велим перевешать".

14

В лето 1582 года, в сентябре, в день памяти богоотца Иоакима и Анны, пришли в Сибирскую землю бесстрашные воины и многие татарские городки и улусы повоевали вниз по Туре и, дойдя до Тавды-реки, поймали татар. Один из них, по имени Таузак, царева двора поведал им все по ряду: про сибирских царей и князей, и мурз, и уланов, и про салтана Кучума. Казаки, уведавши от него о всем достоверно, отпустили его, да скажет Кучуму о пришествии, их мужестве и храбрости. От Таузака слышно бысть Кучуму: "Таковы русские сильны: когда стреляют из луков своих, тогда огонь пышет, дым великий исходит и громко голкнет – будто гром на небесах. Стрел тех исходящих не видно, но уязвляют они ранами смертельными, а ущититься от них никакими ратными сбруями невозможно: куяки, бегтерцы, пансыри и кольчуги наши – все

пробивают навывлет". Услыша сие, Кучум опечалился и послал гонцов во всю свою державу, по всем городам и улусам, дабы к нему ехали на спомоганье против русских. В малое время собралось к нему множество воинов: князья, мурзы, уланы, татары, остяки и вогуличи и прочие подвластные ему языки.

15

Злочестивый же царь Кучум послал сына своего Маметкула со множеством воинов против нашельцев. Сам же Кучум повелел сделать себе засеку подле Иртыша под Чувашием и засыпать ту засеку землею и многими крепостями затвердить. Маметкул же дошел до урочища Бабасан. Русские, увидя таковое поганых собрание, того немало устрашились, но, возложив упование на бога, из лодок своих быстро вылезли и на врагов устремились. Поганые же против нашедших крепко и немилостиво наступали на конях, копейным поражением и острыми стрелами казаков уязвляя. Казаки начали стрелять из пищалей своих и из пушек скорострельных, и из дробовых, и из затинных, и из испанских, и из акробузов, побивая неприятелей множество. И в то время была брань жестокая с татарскими и иными воинами, и от обеих сторон пало множество. Поганые, увидя свое падение, предались бегству. Русские поплыли дальше по реке Тоболу. Татары снова собрались на горе и оттоль стали поражать плывущих, стрелы сыпались на струги, как дождь, но и это место казаки проплыли невредимы. [170/171]

16

Подплыли казаки под Карачин улус и тут новую брань сотворили с Карачею – думчим царевым: взяли улус его и все богатство свалили на струги свои. Татары опять настигли их у Иртыша – которые на конях, а иные пеши. Атаманы и казаки тут с ними на берегу битву соорили и мужественно на них наседали и бились до смертного посечения. Тогда, видевши посрамление свое, предались поганые невозвратному бегству. И в том бою от Ермаковой дружины мало убитых было, но многие уязвлены были стрелами и копьями. Кучум же, слыша своих воинов побежденье, заперся с людьми в крепости на горе Чувашской, а к засеке навстречу врагам высрал Маметкула с людьми многими.

17

Казаки устрашились тьмучисленного воинства татарского и заговорили меж собой: "Братья, как мы можем устоять против толикого собрания?" И, размышляя, собрали круг и совет благ сотворили о том и говорили друг с другом: "Братья-товарищи, отойти нам от места сего или стоять единодушно?" Иные начали думать и говорить: "Лучше нам будет, ежели отойдем в отход". Другие говорили встреч с жесточью и твердостью: "Братья, куда нам бежать? Уже осень достигла и в реках лед смерзается. Не дадимся бегству и худой славы себе не получим, ни укоризны на себя не положим. Будем уповать на бога: не от многих воинов победа бывает. Вспомним, сколько зла сотворили безбожные земле русской: и городам запустение, и православным посечение, и пленение великое. Хотя все до единого умрем, но вспять нам возвратиться не можно срама ради и преступления ради слова своего и обетов своих. Коли всемогий бог помощи подаст, то и по смерти нашей память о нас не оскудеет и слава наша вечна будет". И на том все стали непоколебимо. Ночь прошла, начало светать, солнце просияло, и облака просветились светлым блистанием. Казаки помолились, готовясь к смерти, и с криком: "С нами бог!" – пошли на приступ. И была брань великая. Поганые метали стрелы сверху засеки и из бойниц, и многих от Ермаковой дружины уязвляют, а иных смертно побивают. Татары, видя русских падение, сами проломил засеку свою в трех местах и пошли на вылазку. Тут заварилась битва. По малу же времени поганые начали

оскудевать в силе своей, господь же казакам победу подавал, – начали они одолевать безбожных, погнажи их с поля и, от засеки отбив, свои знамена на засеку воздвигли. Маметкул еле успел на малой лодичке за Иртыш уплыть. Кучум же, стоя на высоком месте, видел своих народов поражение и бегство скоро, повелел муллам кликать свою скверную басурманскую молитву и начал призывать к себе на помощь скверных [171/172] своих богов, но не было ему нимало помощи. И в то время князья остяцкие отошли со своими людьми каждый восвояси. Кучум, видя свою гибель и царства своего и богатства лишение, обратился к своим с горьким плачем: "О мурзы и уланы, побежим немедля! Сильные наши все изнемогли, и храбрые побиты. О, горе мне! Что сотворю? Покрыла срамота лицо мое. Кто меня победил и царства моего лишил? Простых людей послали на меня Строгановы, свои мне мстят обиды. Обратилась болезнь моя на голову мою, и неправда моя сошла на меня". И, взяв себе мало нечто от сокровищ своих, предался бегству, а город Сибирь оставил пустым. Ермак с дружиною вошел в город Сибирь, позже рекомый Тобольск, славя бога и радуясь радостью великою, богатства же многи забрал и меж казаками разделил. На четвертый день пришел к Ермаку остяцкий князек Бояр с остяками и привез с собой много даров и запасов. И по сем стали приходить многие татары с женами и детьми и начали жить в прежних своих юртах.

18

Той же зимы стояли казаки станом на рыбной ловле близ урочища Яболак. Маметкул пришел внезапно и перебил их без остатка. Слышно было в городе о том убиении их, Ермак опечалился и, возъярясь сердцем, кинулся с дружиною за татарами в погоню, настиг их и побил немилостиво.

19

В ту же весну по водополью пришел в город татарин по имени Сейбохта и сказал, что царевич Маметкул стоит на реке Вогае. Казаки пошли на Вогай и, дойдя до указанного места, ночью напали на татар, многих побили, а Маметкула взяли жива и в город к себе привели.

20

Того же лета Ермак с дружиною крепостью меча своего многие города и улусы по Иртышу и по Оби покорил и Назым город остяцкий взял с князем. В том походе на приступе был убит атаман Никита Пан. Ермак же с воинами возвратился в город Сибирь и о всех своих победах Строгановым написал. Строгановы же пространно отписали о том в Москву. И государь-царь пожаловал Строгановых за их службу и радение солью большой и солью малой и грамоту за красной печатью прислал и велел торговать им и у них всяким людям беспоплино. [172/173]

21

Тогда ж Ермак Тимофеевич с дружиною написал в Москву о взятии города Сибири и об отогнании царя Кучума, и о взятии царевича Маметкула, и об усмирении сибирских земель. И слышав государь милость божию, что бог ему, государю, покорил Сибирскую землю, и тех казаков пожаловал, кои к нему приехали с той вестью, великим своим жалованьем: деньгами, и сукнами, и камками. А кои в Сибири атаманы и казаки, и тем государь велел послать свое жалованье, и воевод велел отпустить с людьми служилыми в сибирские города, которые ему, государю, бог поручил, а царевича Маметкула указал государь в Москву прислать.

Во второе лето по взятии сибирских земель были посланы в Сибирь воеводы князь Семен Волховской да Иван Глухов с воинскими людьми. Атаманы и казаки встретили их с честью. Государевы же воеводы по государевой росписи государево им жалованье объявили и им роздали. Атаманы и казаки одарили воевод дорогими соболями и лисицами и всякой мягкой рухлядью.

Тое же зимы, когда пришли московские воеводы, бысть оскудение всякими запасами, и наступил голод, и многие перемерли, и князь Семен Волховской тоже умер, и зарыт был в Сибири. И когда злая зимняя година прошла, и мороз облегчился от солнечной теплоты, и снег покрылся настом, и приспела лосья и оленья ловля, и тем люди питались, и глад облегчился, и когда весна пришла, и снег от теплоты воздуха растаял, и всякая тварь ожила, и деревья и травы начали цвести и произрастать, и отверзлись воды, – тогда все живое возвеселилось: и птицы прилетели, и в реках рыба пошла, и той ловитвою питались, и голоду людям больше не было. Кои языки окрест жили – татары, остяки и вогуличи – привозили им запасы от зверей и птиц, и рыб, и от скота. Тогда московские люди и казаки всякими брашны изобильны быша и богатства себе приобретают от торгу мягкой рухляди и пребывали в радости и в веселии благодаря всемогущему богу, что даровал бог государю такую обильную землю.

Того же лета пришли в город к Ермаку от Карачи послы просить людей оборонить их от ногайской орды и шертоваша на том, что некоторого зла казакам не мыслят. Ермак с дружиною [173/174] поверил их безверному шертованию, а они, злые агаряне, держали совет неблагоприятный на христиан. Казаки же оскудели умами своими, и не вспомняв реченного пророком: "Не всякому духу веруйте, но испытайте духи, не всяк бо дух от бога есть; есть бо дух божий и дух льстечь". И лести и лукавства окаянных не уразумели, и нрава их не разведали, и отпустили к ним атамана Ивана Кольцо да с ним сорок человек, и там все посланные предательски убиты были Карачею. Вниде же сие побиение во уши поганых, которые жили близ города того. Тогда атаман Яков Михайлов, задумав над неверными промысел учинить, пошел под них в подсмотр. Неверные же поймали его и убили.

В том же году, во время великого поста, когда наступил месяц март, пришел Карача в силе и в мощи своей, обложил весь город обозами. Сам Карача встал в некоем месте, называемом Саускан, от города поприща за три. Казаки были в осаде немалое время, зима уже мимо иде, прилетие же пришло, весна приспела, потом же и лету дошедшу, земля прошибающе злак свой и возрастающе семена свои и птицам воспевающе, но вкратце скажу: вся суть обновляема. Карача же немного отошел, но стоя, во обступлении города, хотел казаков уморить голодом, и, как некая ехидна, дыхая на казаков и уклонишася в злоокаянную свою мысль, хотя их похитить, и простер руки свои на убиение казаков, и собрание их хотя себе взяти. И стоял под городом многое время. И когда месяц июнь настал и приспел день двенадцатого поворота зимнего, в одну ночь атаман Матвей Мещеряк вышел с казаками из города тайно: голосу же, ни визгу ни от единого казака не было. В городе остался Ермак с немногими людьми. Прочие же казаки с атаманом Матвеем Мещеряком подкрались к стану Карачи на Саускане и мужески и храбро на стан напали. Поганых же, спящих безо всякого опасения, казаки посекали множество и двух сыновей Карачиных

убили. Сам же Карача и с ним немногие за озеро побежали, а иные побежали туда, где остальные стояли во обступлении города. Ночь кончалась, занялось утро; татары, слыша в тылу шум битвы, скорят в Саускан, надеясь казаков смерти предать. Казаки же нimalo того не устрашились, поганые же на них жестоко напали, и была брань до полудня, и татары отступили. Казаки же возвратились в город, радуясь и веселясь и хвалу воздавая всемогущему богу. Карача, увидев, что казаков ему не одолеть, отошел восвояси со срамом.

26

Того же лета, месяца августа в пятый день, пришли вестники от бухарцев – торговых людей и сказали, что их царь Кучум не пропускает. Ермак с немногими людьми пошел навстречу [174/175] бухарскому каравану по Иртышу и, придя на Вогай, бухарцев не нашел. Доплывя до места, называемого Атбаш, казаки заночевали. Хан Кучум подсмотрел их. Тое же ночью был дождь велик, поганые же, как ехидна некая дышуща на Ермака с дружиною, и мечи свои готовили на отомщение. В полночь Ермак спал с дружиною в стане в пологах. Татары на стан напали и всех казаков перебили и храброго Ермака убили. Слышно же было в городе атаману Матвеем Мещеряку с дружиною, что начальный атаман велеумный Ермак с дружиною перебиты, они же в городе плакали по ним горько.

Летопись ремезовская
(Вольный пересказ)

1

Начало заворуя Ярмака сына Поволского таково: в 1576 воевал и разбивал на Волге и на море торговые караваны в скопе с пятью тысячами человек. В те лета промчался по Руси воровской слух о казаках-ярмаках и царским повелением был послан на Волгу воевода Мурашкин: где тех казачишек ни застанет, тут пытатъ, казнить и вешать.

2

Ярмак, услыша царское грозное слово, задумал бежать в Сибирь, с ним, распустя паруса, самые удалые побежали, а Мурашкин на станах их не застал, а кого застал, тех и приказнил. Ярмак же с товарищи плыли вверх по Каме да по Чусовой да плутали по Сылве. Плывучи, запасы у жителей обирали, вогулич воевали и обогатели, а хлебом кормились от Максима Строганова. На Сылве зимовали. Многие за зиму перемерли с голоду, иные сбежали.

3

По весне приступили гулебщики к Орлу-городку, убить купца Строганова хотели и дома его развалить. Иван Кольцо с есаулами кричал: "Корись нашей славе, мужик, коли захотим, возьмем и расстреляем тебя по клоку. Дай нам в струги на каждого по три фунта пороху, и свинцу, и ружья, и пушки, по три пуда муки ржаной, по пуду сухарей, круп и толокна, соли и масла, да всякой сотне дай по знамени с иконою". [175/176]

4

Максим Строганов страхом одержим отворил амбары, и казаки грузили на свои струги все, что было надо для похода. Атаманы пообмякли и обещали наградить купца по возвращении. С тем и уплыли вверх по Чусовой и Серебрянке до волоку, где тяжелые суда покинули, а легкие переволокли в Жаровлю-реку,

что истекает из Уральских гор в Баранчу, а Баранча в Тагил. Было у Ярмака три сверстника – Иван Кольцо, да Иван Гроза, да Богдан Брязга, были трубачи и сурмачи, сотники, три попа, да старец бродяга, что ходил без черных риз, а правило правил, и каши варил, и припасы знал, и круг церковный справно знал. Кто в чем провинится или примыслит сбежать от них, тому по-донски указ: насыпав песку в пазуху и посадя в мешок, – в воду. И той строгостью у Ярмака все укрепилось, а больше двадцати человек с песком и камнем в Сылве угружены.

5

Слышал Ярмак от чусовлян про Сибирь – богат край птицею, зверем и всецветными камнями, с Каменного Пояса реки текут надвое: в Русь и в Сибирскую землю. По Тагилу, Туре и Тоболу живут вогуличи, ездят на оленях. По Туре же и по Тоболу живут татары, ездят в лодках и на конях. Тобол пал в Иртыш, Иртыш – в Обь, Обь пала в море двумя устьями, а живут по ней остяки и самоеды, ездят на оленях и собаках, кормятся рыбами. По степи калмыки и мунгалы и киргиз-кайсачья орда, ездят на конях, верблюдах, едят мясо и пьют кумыс.

6

На Тагиле-реке казаки пленили улусы вогулич, воевали Пельмские уезды. Казаки видели – страна богата и всем изобильна, а люди, живущие тут, нехрабры. На Туре разграбили и сожгли городок татарского князца Япанчи, разграбили и сожгли Тюмень да тут и зазимовали.

7

Весна близка, приспело время Кучуму ясак с подвластных народов собирать: соболей и лисиц и прочих зверей и рыб. Послал Кучум к Тархану мурзе дворецкого своего Кутугая. Казаки поймали и пленили Кутугая, когда тот рекою плыл, да привели и поставили перед Ярмаком. Атаман расспросил дворецкого о Кучуме, о житее его, а после отпустил с честью, наградив подарками. [176/177]

8

Кутугай со страхом рассказал своему царю о казаках. Кучум опечалился и послал во все пределы своих земель гонцов, чтобы созвали воинов на помощь. А Ярмак не мешкая сплывал по Туре и Тоболу, побивая врагов: басурманы из городков и улусов своих стрекали, как овцы из гнезд, и в страхе отбегали в степи и леса. Расколотили казаки князьков: Маитмаса, Каскара, Альшяя и Бабасана.

9

Татары и вогуличи, остяки и самоеды, мунгалы и киргизы собрались к Кучуму на подмогу. Кучум выслал главное войско с сыном своим Маметкулом навстречу Ярмаку, сам же с отборной ратью укрепился близ своей столицы, на Чувашиевой горе. Казаки, помолившись пресвятой богородице и всем угодникам, ударили на Маметкула, сбили его с укреплений и погналы перед собой.

10

Кучум же от великого ужаса по всем дорогам сильные караулы порасставил, думая и говоря: "Увидят казаки нашу твердость и возвратятся на Русь". Казаки

от Карачина улуса пустились на город Кучума и выплыли из устья Тобола на Иртыш, тут увидели множество басурманских воинов и, убоясь, иные говорили: "Побежим на Русь", – иные призывали идти вперед. Ярмак сказал: "Подобает нам умереть храбро за веру христианскую, бог прославит наш род навеки".

11

"С нами бог", – закричали казаки и полезли на Чувашиеву гору. С горы в них стрелы и копья метали, но поганые не могли устоять противу казачьих пицалей и побежали. Первыми предались бегству остяки, за ними – вогуличи, а там – снялся и потек в степь Кучум со всем своим татарством. Казаки, славя бога и веселясь, вошли в город царя сибирского и стали тут жить. Промчался слых о казаках во всю Сибирскую страну и напал божий страх на всех живущих басурман.

12

Скоро в город пришел со многими дарами вогульский князек Бояр. По его же стали приходять татары с женами и с детьми, давая ясак. Ярмак всем велел жить по-прежнему в домах своей [177/178] родины, как жили при Кучуме. Казаки ездили по жильям татарским и по промыслам смело, не боялись ничего. На озере Абалацком казаки двадцать человек рыбачили, царевич Маметкул напал враспloch и перебил всех.

13

Послал Ярмак вниз по Иртышу в Демьянские и Назымские городки и волости Богдана Брязгу с казаками все те волости пленить и привести к вере и собрать ясак раскладом поголовно. Приехал Брязга в первую Арямзанскую волость, городок взял боем, князя повесил за ногу и расстрелял, ясак собрал за саблю, положил на стол кровавленную и велел верно целовать за атамана – ясак платить во все годы, служить и не изменять. Взял у них запас хлеба и рыбы да отослал в город.

14

Той грозы туземцы ужаснулись и не смели ни только руку поднять, но и слово молвить. Разбили казаки Туртасское городище, тут покинули струги и конями доехали до устья речки Демьянки, до большого их сборного князца Демьяна: город у него велик и крепок, в сборе две тысячи татар, вогулич и остяков. Взяли с бою и ясаком обложили. Опять посадились в струги и пустились на поплава вниз, воюя и грома народы и собирая дань, славя святую троицу.

15

Зимом с Яскалбинских заболотных волостей от непроходимых мест из Суклемы пришли вогульские князьки Ишбердей и Суклем с дарами и поклонились Ярмаку. Ярмак отдарил их, пустил на свои жилища и наказал, да служат. Ишбердей, радея службе, первее других сыскал беглых князьков и привел их в ясак, и дороги в болота казакам сказал, а на немирных народцев вожем был и служил верно.

16

По совету с дружиною Ярмак написал послание государю-царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, принося вину свою, изъявляя верность, как

низложил Кучума прегордного, много князей и мурз татарских, вогульских и остяцких под державную руку царскую привел и ясак собрал и послал к тебе государю с атаманом Иваном Кольцо. Царь Иван Васильевич вельми возрадовался и прославил бога, а Ярмаку послал дары, Ивану же Кольцо и с ним приехавших казаков одарил кормом и выходами и к Ярмаку с похвальной грамотою возвратил. [178/179]

17

По доносу ясашного мурзы Сенбахты казаками был схвачен на реке Вогае царевич Маметкул и отправлен в Москву. Кучум, приняв весть ту, плакал о сыне со всем своим домом: скитался он в те поры в крепких местах на урочище в Тархана и Кулара. Один же из самых многосильных князей – Карача покинул царя и откочевал на степи, что лежат меж Оми, Барабы и озера Чулымского.

18

Плыл Ярмак вниз Иртыша, воевал Кодские и Назымские городки, князей Алазевых с богатством взял. Тем же летом плавал по Тавде: взял Лабутинский городок, князька Лабуту с богатством, и Паченку, и Кошука, и Кандырбая, и Табара. Собрав ясак и всяко настращав князцов, Ярмак с радостью возвратился восвоеси.

19

Прислан из Москвы к Ярмаку воевода князь Семен Волховской да Иван Глухов с пятьюстами стрельцы. Ту зиму голод был великий, понуждающий и тела человеческие есть. Многие умерли, и воевода умер. Весною к городу подоспели верные остяки и вогулы да запасы привезли, и казаки от голоду насытились.

20

Пришел от Карачи обманщик посол, просил у Ярмака людей на оборону от киргиз-кайсачьей орды. Поверя безбожию татарина, отпустил Ярмак Ивана Кольцо с сорока казаками. Карача всех побил. После того в других волостях и улусах татары стали убивать русских. А под весну пришел и сам Карача и обложил город обозами и табором. Держал осаду во всю весну и лета прихватил, но был казаками разбит и отогнан в степь.

21

По попущению божию пришел еще обманщик и сказал: "Кучум не пропускает к вам в город бухарцев с товарами". Ярмак поднялся с казаками и поплыл вверх по Иртышу навстречу бухарцам. До устья Вогаея дошел, бухарцев не видал, много в тех местах плутал, под горой Атбаш раскинул стан и заночевал. [179/180]

22

Была ночь темна, был ветер буен, лил дождь густ. Кучум с татарами, подобравшись к стану тайным бродом, вдруг напал на спящих и всех побил. Так судьбами божьими пришла на казаков смерть. Прослыша про то, возликовали агаряне во всю Сибирскую землю, но недолго превозносились: с Руси шла царская сила, дабы покорить тот край навечно.

23

Такова, братья, сия дивная повесть, написанная во славу божию, чтущим в

пользу, состарившимся людям на послушанье, а молодым людям в научение, разумным на внимание, воинам на храбрость, а древним на память... Ветрила словес спустим, в твердом пристанище истории охотно почием.

Летописные разноречия

Никаких писанных свидетельств после Ярмака не осталось. Казаки прославляли себя мечом и отвагою, а не суетным писанием.

Годов через тридцать с лишком, после гибели Ярмака, в Тобольск был прислан насаждать среди сибирцев православие архиепископ Киприан. Он и повелел расспросить оставшихся в живых Ярмаковых дружинников об ихнем приходе в Сибирь и о прочем, имеющем к тому касательство. Казаки принесли ему написание о своем походе, где у них с татарами и с иными народами бои были и где казаков и какого именно убили. По этому казачьему написанию, тоже не сохранившемуся, архиепископом и была составлена поминальная запись, которой пользовались первые сибирские летописцы.

Древнейшей летописью считается Строгановская, или Сибирская. Суть ее, как видит читателя, такова: почин похода, самый план и средства к его выполнению даны промышленниками Строгановыми. Написал ее, как рассудить можно, близкий Строгановым человек для прославления и восхваления купеческого рода.

Другая летопись составлена тобольским дьяком Саввой Есиповым, который отсовывает Строгановых от чести и почину сибирского похода и весь гром похвал воздает премудрости божьей и удали понизовой казацкой вольницы с атаманом Ярмаком во главе.

Третья летопись, собранная сыном боярским Ремезовым, также утверждает, что сибирский поход был задуман и выполнен [180/181] казаками самостоятельно. Строгановы же под угрозой оружия были-де вынуждены удовлетворить гулебщиков всем необходимым и были-де рады выпроводить их из своих владений. Летопись полна стилистического своеобразия, чего ради мы, наряду со Строгановской, и приводим ее в литературных подарках.

И, наконец, в половине XVIII века тобольский ямщик Илья Черепанов составил новую летопись, но она большого самостоятельного значения не имеет и представляет собою не что иное, как путаный пересказ сибирского похода по сведениям, уже известным. Кудреват и бескровен, по сравнению с другими, и язык Черепанова.

Нелегко решить, какая из летописей достовернее. Каждая из них опирается на множество слабых и сильных доводов, каждая имеет своих славных защитников и не менее славных противников. О некоторых подробностях похода в летописях упоминается глухо; в записи времени того или иного события есть явные несуразицы и разноречья; были и быти круто заварены вымыслом сочинителей, – в иной путанице порою и заядлый историк не в силах разобраться, не имея древних, уничтоженных пожарами бумаг.

Ученый муж XVIII века – подвижник и трудолюб – Г. Миллер книгой своею "Описание Сибирского царства" положил начало изучению истории сибирской. Целая ватага замечательных в своем деле русских прошляков (историков), касаясь Сибири, расширила и углубила многие вопросы, едва намеченные Миллером.

Шагая в романе по коренной, протоптанной многими остроумными дорожке, мы все же не раз свертываем с нее на тропы своих примыслов, – истории знахарь без труда разглядит эти примыслы, любителю же романного чтения вряд ли будут интересны исторические тонкости, а потому и не будем о них особо распространяться.

Выводы

Разбойниками, попросту думать, прозывались шайки оголодавшего

бесправного люда, вынуждаемого добывать себе зипуны и прокормление доброй отвагою. Правда, на разбой, как на промысел, хаживали и богатые казаки, и захудавшие дворяне, но в то далекое время не они являлись заправилами в вольных дружинах понизовых гулебщиков.

Повольников объединял котел с кашей и страх перед боярскими кнутами, а не сияющие идеи христианства и не стремление расширить русские рубежи, как то живописуют летописцы и иные русотяпского толка историки.

Зачатки осознания себя как класса широкими низами крестьянства и гулевого казачества следует отнести ко временам [181/182] Пугачева и Разина. В XVI же веке и ранее, если говорить без натяжки, повольники являлись буйствующей слепой силой, – доказательств тому в истории предостаточно. Это утверждение, разумеется, не отвергает, как то может показаться иному скудоумцу, существования борьбы сытарей с голодарями в весьма отдаленные времена.

Время Ивана Грозного – время разворота торгового капитала. Частичные успехи русского оружия в Прибалтике не имели решающего значения для расцвета отечественной торговли. Русь, потерпев поражение на западных рубежах, устремила мечи свои на восток.

Поход Ярмака, здраво рассудив, следует рассматривать как военно-промышленное предприятие. Хотя прямых доказательств призыва казаков Строгановыми и нет, но направляющую руку купца в освоении новых земель вряд ли можно отвести.

Хотели того казаки или нет, но оружием своим они расчищали дорогу царю и купцам в богатую мехами Сибирь. Прикормленные казачьи атаманы, а иные из них по кромешной дурости, в чаянии высоких милостей, водили казаков от Персии до Мангазеи и от Польши до Сан-Франциско. Кроме того, жажда обогащения срывала с места и гнала в неведомые края не только богача, но и самого последнего бедняка.

Возможно, что первоначальный замысел казаков был бесхитростен – свершить на Сибирь набег, погромить тамошних народцев и с богатой добычей возвратиться на Русь, но сложившаяся обстановка вовлекла казаков в длительную борьбу и на многие годы приковала к опорному месту – Тобольску.

Москва, занятая войной с южными и западными соседями, переоценивала силу Кучума и вступать с ним в открытую борьбу побаивалась. Исподтишка же царь подзуживал и казаков и купцов промышленять над азиятцами и прибирать к рукам гулящую землю. На самом деле политическое устройство Сибирского царства было чрезвычайно слабо и мнимая мощь Кучума рассыпалась от первого крепкого удара.

Есть, хотя и весьма шаткие, но все же есть основания полагать, что казаки намеревались завладеть Сибирью сами, как до того они владели Доном и Запорожьем, а позднее Яиком, Терекком и Кубанью.

И не верноподданнические чувства, а злая нужда влекла Ивана Кольцо в Москву: людей оставалось мало, воинский припас был на исходе и каждому казаку было понятно, что своей силою Сибири не удержать.

Житье-бытье сибирских кочевников и охотников, задавленных своими злоедами, с приходом русских завоевателей стало еще горше. Князцы же туземные отбежали в глубь Сибири; немногие, кто остался верным хану, пали под ударами казачьих шашек, но большинство, как случается всегда и всюду, предали своего вождя и пошли на поклон к новому владыке, царю русскому. [182/183]

Поход казаков-ярмаков изукрашен в летописях многими божьими чудесами, по поводу чего еще в 1750 году Г. Миллер писал: "Я сам себе насилие делаю, когда все в Тобольском Летописце описуемые чудеса объявляю; однако ж оных совсем оставить не можно. Должность истории писателя требует, чтобы подлиннику своему в приведении всех, хотя за ложно почитаемых приключений верно последовать. Истина того, что в историях главнейшее есть, тем не затмевается и здравое рассуждение у читателя вольности не отнимает". Да

пропустит современный многоумный читача чудеса сии мимо ушей. Земля Сибирская, как само дело показывает, была покорена превосходным оружием русских, которого сибирцы не знали. Сверх того, за казаками стояла крепнущая мощь молодого государства Российского. [183/184]

Сказки и бывальщины
Остяцкая

Итя ходит вверх, ходит в верхний край озера ставить сети. Попадает в сети карась с косыми глазами. Тут садится утка, стреляет ее Итя из лука, подгребая берет утку. Караси попадают в сеть, Итя наполняет карасями лодку и едет домой. Бабушка встречает его на берегу и ворчит: "Вот на свой век добра добыл". А Итя говорит: "Вверху карасей убавилось".

Поночевавши, утром берет сеть туда, ставит сеть у берега и посмотрел, камыши дрожат. Он подумал: "Вот караси сплылись ко крутому берегу". Едет туда, где дрожит, быстрина его тянет, а он плывет – лодка идет сама – и говорит: "Вода сама гребет, вот где жизнь – то без работы". Попала нельма в мотню, вытряхнул нельму из мотни в лодку да колотушкой рыбину в голову бух – и убил. Плывет вниз, и тут речной конец, истоком промызнул в свое озеро, карасей выгреб из сети и поплыл домой. Бабушка встречает его и ворчит. Сколько старуха ворчала, а кишки из нельмы выдавила и слонула. Итя выгрыз рыбки жабры, высосал мозг, выпил глаза, приговаривая: "Будешь, нельма, лежать в моем брюхе. Твой отец и твоя мать тоже лежали в моем брюхе. Не поплывешь ни протоком, ни рекою, не будешь больше резвиться в лунных струях".

Оба ели и поели...

Вогульская

Чаинский охотник Изьркул и чулымский охотник Курманай встретились в лесу и легли отдыхать. "Кто съел твои щеки?" – спросил Изьркул чулымского. Тот ответил: "Меня проглотила [184/185] щука, водяной богатырь проглотил меня". И Курманай сам спросил чаинского: "А кто ободрал твою морду?" Изьркул ответил: "Меня царапал лесной богатырь".

Курманай рассказал: "В Чульме есть озеро, Мамонтово называется, каряжисто, бездонно, никто по нему не плавает. Раз я пришел туда. Время было жаркое. Вижу лебедя, стрелил лебедя из лука и убил. Надо за ним плыть. Разделся маленько – шапку бросил, рубашку – в штанах поплыл. Недалеко был, а лебедь бульк и пропал. Я забоялся и плыву назад. Тут небо и берег потерялись: кто-то проглотил меня, опомнился внутри: ошалел, задыхаюсь, кое-как выдернул из-за пояса нож, режу так и так, просовываю в дыру руку и хватаю траву, потом разрезаю шире и выхожу вон. Гляжу, взвернулась около берега щука-мамонт, она проглотила меня и унесла от того места на два поприща (версты)".

Изьркул рассказал: "С братом плыли вверх по Конде, а собака бежала берегом. Залаяла. Выхожу на берег с веслом. Медведь из осоки вышел на меня. Схватил медведя за обе щеки и бросил его на землю, сел на медведя верхом и кричу брату: "Прижал медведя, выкинь мне на берег топор или нож". Брат был раньше дран медведем, кричит: "Бросай, иди в лодку". А я говорю: "Нож или топор дай, подай, сам близко не подходи, коли боишься". Медведь поддел ногтем и перервал у меня жилу на руке и другую руку до кости надкусил. Тут я наступил ногою зверю на горло, и он закусил ногу мою и стал жевать. Тут я лягнул его другой ногою под сердце – медведь разинул рот, я вынул ногу. С кровью истекла моя сила, упал на медведя и говорю: "Ешь меня". А медведь – готов, сдох. Шатаюсь, иду в лодку. В лодке хочу взять нож и зарезать брата, рука не держит ножа, говорю: "Ты выдал меня медведю, если я мог бы съать в

руке нож – зарезал бы тебя. Вези меня домой". Брат молчал и трясся от страха. Приплыли к себе. Отец и жена положили меня на шубу и вынесли на берег. Год я пролежал в чуме. Осенью начал немного похаживать. Вечером стал сучить заячий силочек и говорю сам с собой: "Ты, медведь, не лезь ко мне, и я к тебе не полезу". Утром пошел силки ставить, топор за поясом. Опять медведь вышел. Тюкнул я его в полсилы и убил сразу, глаза вывалились вон. С радости затесался на сосне медвежьей морду".

Чаинский охотник Изьркул и чулымский охотник Курманай отдохнули и пошли каждый в свою сторону.

Киргизская

Караванщик по имени Юсуп был захвачен в пути непогодой и остановился ночевать в пустынном месте. К огню подошла красивая молодая девушка. Юсуп спросил: "Кто ты?" Она [185/186] отвечала: "Собирала дрова в лесу, мой аул, забыв обо мне, откочевал". После этого караванщик сказал ей: "Если так, то поедем со мной и завтра нагоним твой аул, а пока садись со мной ужинать". Она, не показывая пальцев, взяла кусок жирной баранины рукавом и стала есть. Когда наступило время ложиться спать, девка, блеснув зеленым глазом и не сказав ни слова, ушла. Юсуп догадался, что к нему приходил черт жез-тырнак (медные когти). Около полупотухшего костра он накрыл своей шубой пенек, а сам вывернул с корнем молодое деревцо и притаился за кустом. В полночь черт вернулся и пронзил своими когтями пень, покрытый шубой. Караванщик подкрался и жажнул черта по башке, из того дух вон, только смрад пошел. Потом распластал черта чаканом, из утробы чертовой высыпалось много золота, но оно было так горячо, что под ним дымилась земля. Юсуп дождался, пока золото остыло, насыпал в чувалы и вернулся к своему народу богачом.

Татарская

В Астрахани у одного мурзы служил в конюхах плутоватый мальчик по имени Мамет. Он воровал у скота корм и прогуливал деньги в притонах. С животными он обращался жестоко и не жалел ни кнутов, ни палок. Однажды выведенный из терпенья осел, которому попадало больше других, вызвался проучить Мамета. Было известно, что в болоте недалеко от города водятся черти. Идти туда всяк боялся. Из всей конюшни вызвался осел, так как издавна известно, что осел, козел да черный кот – чертячьи выродки. Мимо того места поздно ночью из кабака возвращался Мамет. Услыхал визг, смех и мяуканье – пробормотал молитву, черти отлетели. Идет дальше, видит, ползут за ним змеи и шипят. Мамет святым словом снова отогнал нечистую силу. Черти разлились перед ним и обратились в скользкий лед. Конюх ступил на лед и поскользнулся: "Ах!" – и не успел закрыть рта, как старшой лягнул его в скулу копытом, так он и остался с раскрытым ртом, не мог произнести ни одного божественного слова. Набольший, размотав Мамета за ногу, метнул его по льду, и он летел по льду до самой болотной пучины, где и утонул. Осла сожрали волки, когда он возвращался восвояси, но остальные скоты зажили счастливо при новом конюхе. [186/187]

Литературные шутки Что и как писали об Ярмаке

Плавильщиков П. Ермак, покоритель Сибири. Трагедия. Москва. 1806 г. Представлена в первый раз на Петровском театре, 1803 г. февраля 13 дня, причем Ермака играл сам автор.

Монологи Ярмака:

Я разбойник, но не бунтовщик. Чту добродетель превыше всего. Умерщвлял ли я кого-нибудь, кроме сих пиявиц иностранных, которые, подобно саранче,

бегут поядать цветущее отечество наше?

Мои казаки покоятся сладким сном, а повелитель их не спит: он не спит для того, чтобы доставить им совершенный покой... Вот плоды начальствования. Повелевать гораздо труднее, нежели повиноваться. Но до сих пор бремя власти меня не отягчало...

Боже всемогущий, тебе открыты все помышления людей... Ты видишь мои намерения... Очернены ли они хотя тенью порока? Не алчность к пролитию крови человеческой влекла меня сюда; я не искал суетной славы победителя; я ищю прославить твое имя и имя государя... Ермак, Ермак, обрати мысль свою к богу! Нет под солнцем ничего, что укрылось бы от промысла всевышнего. Может быть, побитием татар господь захотел очистить оскверненную идольскими жертвами землю? Боже всемогущий! Ты оправдал над нами царствовать великого царя России. Прославь имя его в сем хладном краю света; да покоренные народы приведет он к познанию веры православной и да согреет блаженство его державы замерзлую сибирскую природу.

Палимая огнем войны душа моя алчет прохлады в любви. Любовь, любовь... Разве может быть закрыто мое сердце к ее [187/188] ощущениям? Это чистое, верховное блаженство, которое служит наградой добродетели. Несчастливая пленница... Кто она? Она... ах! она владычица души и сердца моего... Верить ли слуху моему? Любовь... Ермак, ты любим! О, счастье! Ты превышаешь ожидание мое! Счастье! ты играешь участью людей! Будь ко мне милосердно, подай мне мир. Пусть вместо гибельной брани любовь утвердит мою славу!.. Она лишилась чувств! Она бездыханна! Боже, возьми мою жизнь, только оживи мне ее... Мне никто не внемлет... В ней я лишился всего... Мои победы мне несносны. Ах, на то ли, жизнь, ты вырвала меня из челюстей смерти? Лейтесь, лейтесь, горестные слезы, вы прохлаждаете грудь мою...

Полевой Н. Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь. Драма. С.-Петербург. 1845 г.

Кузьма (старый разбойник)

Эх, Волга-матушка, кормилица родная,
Раздольный путь с полночной стороны,
Не по тебе ли воля удалая
Во дни разгульной старины
На челноке ушкуйника Прокопа
Да на ладье донского казака
Водила русских молодцов далеко?..

Ярмак

Прощай, родимый край,
Прощай ты, Волга-матушка, река-царица,
Раздолье дикой юности моей.
Уж скоро час ударит – каждый шаг
Нас будет отделять от родины.
Кто знает, приведет ли бог опять
Увидеть вас, родимые места.
Так дайте ж надышаться мне в последний раз
Родимым воздухом. Мне дайте наглядеться
На небо, на воды, на божие созданье,
Наслушаться землячек-птичек,
Взять горсть земли родной и на груди
Здесь сохранить ее, как мать родную, и, когда
В чужой земле мне будут рыть могилу,
Ты, горсть родной земли, прикроешь

Мой хладный труп, его согреешь ты!

Ярмак в Сибири

Друзья!

Мы ворвались в заветный лес, где от веков
Нечистые моленья приносились.
Здесь было требище богам поганым, [188/189]
Здесь кровь текла на жертву сатане!
Как пал кумир поганый, так падет
Неверие пред верой православной,
И просяют божья благодать и свет
Над областью Сибирской
На месте сем, где требище кумира
Зловонием окрестность заражало,
Поставим богу светлый храм,
И в нем кадила фимиам,
При пении согласном ликом.
Ты близок, близок день желанный,
Когда, во имя бога и царя России,
С главы сибирского царя спадет венец.
Мы на стенах его столицы
Хоругвь святую водрузим
И сердце батюшки-царя возвеселим.
Сибирь, ты примешь кости Ермака,
В твоих волнах, Иртыш велиководный,
Могила хладная готова мне.
Будь воля божья. Подвиг совершен.
Орел России, ты вознесся над Сибирью.
О радуйся, душа моя, весельем многим...

Буйницкий. Ермак, завоеватель Сибири. Историческая повесть. Москва. 1867 г.

Ермак находился в чрезвычайном волнении; грудь его вздымалась, чело становилось грозным: то важные мысли, казалось, стесняли его воображение. Иногда восклицал он – и взоры его воспламенялись; иногда погружался в уныние – и взоры его потухали. Взоры его сияли огнем мужества, лицо изображало важность.

Облаченный в торжественную одежду, прикрытую на груди панцирем, с пернатым на главе шлемом и препоясанный серебряной цепью, на которой висела сабля булатная, Ермак вступил во град Кучумов на белом коне, коего пламенные глаза, дымящиеся ноздри и пена, покрывающая стальные удила, оказывали, что он горд своим всадником.

В одну приятную весеннюю ночь Ермак вышел из града. Воздух был чист, небо ясно, повсюду царствовала глубокая тишина. Ермак увидел человека, сидящего на отломке скалы. Глава его склонена была на руку, которая опиралась на гранит; томные, печальные звуки – отголоски души – вырывались из груди его...

Ермак, привлеченный красотой окрестной рощи, вступил во внутренность ее и безмолвно наслаждался великолепным зрелищем природы: легкий ветерок помахивал зелеными листьями деревьев, кристальные ручьи струились по разноцветным [189/190] камушкам. Ермак достиг прекрасного луга и увидел под сенью одного дерева Героиню, разметавшуюся на траве и спящую глубоким сном. На величественном челе ее играл алый румянец, на малиновых устах покоилась кроткая улыбка, снежная грудь ее вздымалась от вздохов... Пораженный удивлением, Ермак приблизился к ней, долго рассматривал прелестные ее черты и не понимал, отчего душа его находилась в волнении, отчего кровь в нем

стремилась быстрее?

– Любезная незнакомка! – с исступлением сказал Ермак. – Если ты надеешься со мной быть благополучною, прими мое сердце.

Лицо Колханта покрылось румянцем и, проснувшись, она тихо ответствовала:

– Друг мой, страсти сжигают меня! – И она бросилась в его объятия и сокрыла пламенные щеки свои на лице его.

Соперник же Азим натягивает лук и пускает пернатую стрелу, которая летит, свистит и углубляется в сердце красавицы. Подобно нежному цветку, сраженному пагубным, зноем, упадает Колханта, обращая в последний раз взоры свои к Ермаку, и испускает дыхание...

Шишков А. Ермак. Повесть. Москва. 1828 г.

...Твой меч остер, стрела метка.
Ты вносишь смерть и гибель в сечу,
Но жалься, не ходи навстречу
Булатной сабле Ермака!
Он зол, страшна его рука,
Его душа неумолима.
Завет напрасный, дева Крыма.
Татарин смел: из юных рук
Он взял стрелу и звонкий лук;
Он обещал подруге сердца
Копье иль панцирь иноверца;
Он полетел грозю в бой.
Он с Ермаком изведаль силы,
Вздрыгнув под саблей роковой
И поздно вспомнил голос милый.
Но не один погиб Ахмат.
Он не один, краса Гюльнара,
Взгляни: курганов длинен ряд;
Они безмолвно говорят
О силе грозного удара.

...Несчастлив тот, кому любовь
Не улыбалась в жизни скучной!
Счастлив, кто спал среди цветов
С подругой жизни неразлучной, [190/191]
С молодой посланницей богов.
Восторг любви, души порывы,
Ермак в забвенье вас узнал,
Когда один, нетерпеливый,
Теару к сердцу прижимал.
В глазах волшебницы невинной
Читал доверчивый покой;
Сгорая, трепетной рукой
Перебирал косою длинной,
Дыханье уст в себя впивал,
Желанья скрытого признанье
И груди полной кольханье
Кипящей грудью измерял.

...Ермак в цепях: подземный хлад
Тлетворной смертью в душу веет;
Железа тяжкие гремят,
Тоска на сердце тяготееет.

И мыслит он: "О краткий миг!
Куда исчез ты, призрак счастья?
Впервые радость я постиг
Под тучей грозного ненастья.
Исчезло все – мечты любви,
Младых надежд и шумной славы!
О сон! Повей, возобнови
Мои протекшие забавы".
...А ты, дружина Ермака,
Ты не услышишь глас знакомый;
Его бесстрашная рука
Перед тобой не бросит громы
В татарский стан, в толпы врагов,
И в час свободный, отдых битвы,
Его не будет слышен зов;
Он не помчит на пир ловитвы
Своих послушных казаков.
И где ж он, где? Никто не знает;
Тоска в дружине боевой;
Лишь шепотом молва, порой,
Из уст в уста перелетает:
"Ермак любил, Ермак пылал;
В тиши ночной, во мраке ночи
Теару к сердцу прижимал
И целовал сокольи очи".

"...Ермак! Ужасно преступленье!
Что предложил ты мне? Позор!
Где ж дружбы прежней договор
И к беззащитной уваженью? [191/192]
Не ты ли сам хотел щадить
Невинной страсти заблужденье?
Мне суждено тебя любить.
Но ты, Ермак, ты мне защита
От сердца, от себя самой:
Люблю тебя, перед тобой
Душа невинная открыта!
Ты пощадишь мою боязнь
И мыслей детских упоенье...
Люблю тебя; с тобой и казнь
Была б мне жизнь и наслаждение.
Но что? Тебя ль бояться мне?
Нет, лести мой Ермак не знает;
Кто страшен сильным на войне,
Тот слабых дев не поражает.
Итак, твоя, твоя, Ермак!
Клянусь, по гроб твоя Теара!..
Когда ночной прояснит мрак,
Я жду тебя под тень чинара". [192/193]

Словцо конечное

Вначале книга была задумана, как забава и отдых меж ломовых дел, но в песне сердцу первое слово: приступил к работе, увлекся и – пошла писать...

Разин, Пугачев – большая дорога народных движений, Ярмак – глухая тропа. О Разине, Пугачеве, Булавине – горы архивных материалов, исторические же сведения об Ярмаке крайне скудны; так, достоверные известия о сибирских

народах того времени можно уписать на пяти страничках, а еще того менее мы знаем о работных людях XVI века. Зимами я дневал и ночевал в книгохранилищах, а с весны распускал парус и на рыбачьей лодке плыл по следам Ярмака – Волгою, Камою, Чусовой, Иртышом, – кормясь с ружья и сети. За шесть годов перерыл гору книг, проплыл по русским и сибирским рекам под двенадцать тысяч верст. Трудности, как, впрочем, и во всякой честной литературной работе, были огромны – коротко о них не расскажешь, а распространяться нет охоты: кому интересна потная, черновая работа такого дикого, как я, писателя?

До последнего времени имел намерение печатать книгу в двух разнословах (по-ученому сказать, варьянтах), а сейчас по немногим, но весьма увесистым причинам, отдумал. Впрочем, кое-что из второго разнослова мною подано в литературных подарках. Вьюга горестных раздумий захватила меня в пути – зазнобила сердце, залепила очи – книга не доработана... Может быть, когда-нибудь падет на меня радостных дней орлиная стая, с новой силой загремит и заблещет перо мое: тогда-то на роман и будут положены последние краски и жары...

Гуляй-городом в глубокую старину у русских звался военный отряд в походе – с обозами, припасами; у сибирцев – кочевое становище. Позднее гуляй-городом назывались подвижные на [193/194] катках башенки, для приступа к крепостям. Отсюда, в хорошую минуту, родилось и заглавие романа: Гуляй-Волга – русской воли и жесточи, мужества и страданий полноводная река, льющаяся на восток...

Знаю: глупец, зачерствевший в зломыслии и ненавистничестве, пустится поносить меня всяко и лаять на разные корки; полудурье прочтет книгу сию, ухмыльнется и забудет; умный же и чистый сердцем возрадуется крутой радостью и порою перечтет иные строки... Улыбка и уроненная на страницу слеза живого читалы да послужат мне лучшей наградой за этот каторжный и радостный труд!